

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

СИБИРИАДА

ОТЕЦ И МАТЬ



Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Александр Донских

Отец и мать

«ВЕЧЕ»

2018

Донских А. С.

Отец и мать / А. С. Донских — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибиряда.
Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7786-7

Новый роман-диалогия известного сибирского писателя рассказывает о сложной любовной драме Екатерины и Афанасия Ветровых. С юности идут они длинной и зачастую неровной дорогой испытаний и утрат, однако не отчаялись, не озлобились, не сдались, а сумели найти себя в жизни и выстроить свою неповторимую судьбу. Связующей нитью через весь роман проходит тема святости отцовства и материнства, Отечества и семьи, любви к родной земле и людям.

ISBN 978-5-4484-7786-7

© Донских А. С., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Книга первая	5
Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	14
Глава 5	18
Глава 6	20
Глава 7	26
Глава 8	28
Глава 9	32
Глава 10	36
Глава 11	39
Глава 12	41
Глава 13	43
Глава 14	46
Глава 15	49
Глава 16	52
Глава 17	55
Глава 18	57
Глава 19	59
Глава 20	62
Глава 21	65
Глава 22	68
Глава 23	70
Глава 24	74
Глава 25	76
Глава 26	78
Глава 27	81
Глава 28	84
Глава 29	85
Глава 30	89
Глава 31	93
Глава 32	97
Глава 33	99
Глава 34	103
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Александр Сергеевич Донских

Отец и мать

Книга первая

Глава 1

Афанасий, опершись на локоть, лежал в тени своего заглушенного трактора и напряжённо смотрел в текучую знойную даль. Сердце парня – не здесь. Где-то далеко большие дороги и города, там другая и конечно же необыкновенная жизнь. А вокруг – непаханное поле, оно буйным июльским дикотравьем и непролазными кустарниками бугрилось за ухоженными огородами Переяславки, изломами спадало к обрывистому берегу Ангары, соединяясь с её молочно-зеленцеватыми водами. Шёл второй послевоенный год; страна мало-помалу поднималась к новой жизни, распахивая заброшенные земли, отстраиваясь, мечтая о лучшей доле.

Приметил дрожащую точку; она стремительно наплывала от окраинных домов и превращалась в каплю росы. А немного погодя он разглядел голубенькое платье, разброс трепещущих на ветру волос. Улыбнулся блаженно: «Бежит-таки моя Катя-Катенька-Катюша. Понимает, зазнобушка: голоден я, как волк зимой».

Вот и Екатерина – запыхалась, разгорелась. Парень любит свою девушку: тоненькая, напряженная, вся как струнка натянутая, тронь её – зазвучит певучей мелодией. А какие у неё глаза – чёрный пламень, однако кажется, будто светлы. Они у неё лучистые, сияющие, таких больше нет на земле.

Присела на корточки перед Афанасием, подала ему котомку. Он, очарованный, улыбочиво заглядывал в её глаза, вслепую развязывая своими крупными, уже вполне мужичьими пальцами узелок, однако тот настырно не давался ему. Нетерпеливо распялил застрёху, жадно съел вареник, ещё один, булькающе запил молоком из бутылки. Не забыл позабавить Екатерину: целиком запихнул в рот довольно крупную картофелину и вдруг выкатил глаза, замычал, словно бы подавился. Но тут же хлопнул себя по маковке, открыл рот – пусто.

– Смотри, и взаправду подавишься, едало! – посмеивалась Екатерина.

– Р-р-р, я и тебя проглочу!

Она пискнула, выворачиваясь из его тяжёлых, но чутких, ласковых рук.

– Скажу председателю: зачем даёт Афанасию трактор – он сам может запросто тянуть плуг. И стегать его не надо: известно, самый сознательный в нашем селе.

– А ну его, трактор, и это поле, и деревню! – отмахнул Афанасий рукой. Но прибавил значительно, даже с некоторой важностью: – В область, Катюша, на днях отчаливаю. С матушкой и батей уже обговорили. Десятилетка позади, учиться мне надо дальше. Вот такой расклад! Понимаешь?

Екатерина уткнулась лицом в подол.

– Чего закручинилась? – приобнял её Афанасий. – Обустроюсь, осмотрюсь в Иркутске и – тебя за собой.

– Чую, бросишь ты меня. Найдёшь другую. Их вон сколько всяких разных по городам шлындает.

– Прекрати! – рывком поднялся он с земли. – Сказал, возьму, так тому и быть. Ясно?

Но не устояло гневливое сердце Афанасия – тихонько, чуть не шепотком примолвил:

– Люблю я тебя одну и никому не отдам. Никому, никогда. Так и знай.

Помолчав с прикушенной верхней губой, тронутый чёреньким пушком усиков, снова заговорил солидно, старался зачем-то гуще баритонить:

– А кто попробует крутить с тобой – тому можешь сразу передать: щелчком Афанасий Ветров ужокошит, кулака марасть не будет. Ты меня знаешь: сказал – сделаю! Пока же – заканчивай десятилетку, знай себе учись. Потом прикатишь в Иркутск – глядишь, поступишь в институт. В библиотекарши метишь? Молодец! Оба будем образованными. Спецами!

Екатерина несмело подняла глаза на Афанасия – стоял он над ней рослый, могучий, лобастый и конечно же – родной, любимый, единственный. Но он смотрел в противоположную сторону, снова в ту же, где большие дороги и города, где неведомая другая жизнь.

– Афанасий, родненький, какая может быть десятилетка для меня? Я – брюхатая.

Последние слова произнесла на полвздохе, будто задыхалась.

– Знаю! – упёрся он взглядом в землю. – Уже ведь говорено об этом, и не раз.

– Что мы с тобой натворили!

Закуривал, разламывая спичку за спичкой. Отбросил так и не задымившую папиросу, зачем-то тщательно втёр её носком сапога в дёрн и даже притопнул.

– Боже, что натворили, что натворили!

– Не нудила бы ты, Катенька! – снова разгневилось нестойкое, прихотливое сердце парня. – И Бога зачем приплела? Нет ни богов, ни чертей!

– Не нужно тебе дитя?

Афанасий сжал зубы. Молчал.

– Говори: нужно или нет?

– Катя!

– Говори!

– Учиться я должен, учиться! Понимаешь? И тебе нужно учиться. Потом нарожаем детей, и всё такое в этом роде будет.

– Понятно: не нужно.

– Катерина!

– Что нам делать?

Он молчал.

– Что делать?

Молчал, стискивая зубы. Косточки скул выпирали, подрагивали.

– Что? – уже шепнула, обратившись, по-видимому, только лишь к самой себе.

Нет ответа, а взглядом – вдаль, вверх.

Она приподнялась с земли, но отчего-то не смогла сразу выпрямиться, полусогнуто стояла, как старушка. Сказала, не взглянув на Афанасия:

– Вечером наведаюсь к бабке Пелагее. В-вытравлю, – через силу, почти не размыкая губ, выговорила она.

Он, не взглянув на Екатерину, с неловко повернутой от неё головой, чрезмерно широко шагнул к трактору:

– Пахоть пора. Председатель мне так наказал: кровь из носу, а чтобы до своего отъезда я залежь поднял. Ты хорошо знаешь, Екатерина: если я слово дал – в лепёшку расшибусь, а выполню. Так-то!

Приобнял Екатерину за худенькие плечи, поцеловал в маковку, как ребёнка. Подтолкнул к селу, так и не взглянув в её глаза:

– Ну, ступай, ступай домой.

– Суровый ты со мной, Афанасий. Пахота для тебя важнее.

– Пойми, Катенька, слово я дал!

Но вдруг подхватил её на руки:

– А садись-ка, зазноба, в кабину: прокачу пару борозд. Напоследок! Увидишь, какой я пахарь.

– Что, стоящий разве?

– Небось слыхала, как хвалят меня в деревне.

– Ой, и хвастун же ты!

– Сейчас увидишь: залежь буду раздирать на куски, кромсать. Глянь-ка, какая тут земля – зверюга! – топнул он сапогами по твёрдой, скованной дёрном земле.

Усадил Екатерину в кабину, рванул рычаги – взревел дизель, впились стальные ножи в почву. Они рвали заматеревшую землю в клочья, вываливая чёрные, литые шматки. Добрый урожай принести этой земле в следующем году, скопившей за лихолетия недюжинных сил, но пока что она дикая, бесполезная, существует сама по себе, и Афанасию нужно подчинить её надобностям человека, великим целям и устремлениям долгожданной мирной жизни, государства. Скрежетала кабина, лязгали гусеницы, вырывался из трубы чадный дым – трактор хищно напирал на целину. Охваченный задором и удалством, Афанасий улыбался Екатерине, рукой смахивая поминутно натекающий на брови и ресницы пот, даже насвистывал и щеголял умелым вожделением трактора, играючи переталкивая рычаги. А то и – проказливо газанёт – Екатерину, как пушинку ветром, откидывало назад. «Ну, каков я? – казалось, хотел он спросить у девушки своими выходками. – То-то же! Знай наших!»

Екатерина была восхищена своим озорным парнем, цеплялась за его твёрдое плечо.

Перекрикнул грохотание:

– Выучусь – и вот так же, Катенька, попру по жизни!

Екатерина не поняла неожиданных слов своего возлюбленного, которые, казалось, нечаянно и некстати оторвались от его потаённых мыслей:

– Попрёшь? Не понимаю, о чём ты, Афанасий?

– Выучусь, говорю, и всей мощью попру по жизни! Ты знаешь, я силач. Ничто меня не застопорит. Пахать буду жизнь, чтобы урожай получался обильным. А если заартачится, – по газам, по газам! – налегал он на педаль газа. Екатерину снова отбрасывало. – Пахотные ножи буду остро точить. Лучшим зерном засею поле нашей с тобой жизни. Вот так хочу жить! Только б, милая моя, выучиться, образование получить, в инженеря, в люди выбиться – и сам чёрт мне не страшен!

Она крикнула в его красное, будто раскалённое, ухо:

– А если людей зацепишь невзначай плугом!

– А-а, что люди! Они – точно этот дёрн: лежит себе, полёживает, непонятно зачем. А пришёл сильный человек, раскурочил его, разбил комки и – вот тебе: благодать для всех. Сей зерно, потом собирай урожай! Эх, много, Катюша, в жизни всякого разного дёрна, хочу разрывать его, культивировать!

Девушка поглядывает на парня, любитесь им, гордится им: умный, красивый, сильный он у неё. Что там – богатырь, красавец, семи пядей во лбу. Лучший ученик школы, единственный со всего района по направлению в институт поступает, а ещё какой труженик, активист, комсомолец. Он перехватывает её взгляд – не без самодовольства, но ласково улыбается. Она напрягается лицом для ответной улыбки, однако губы перекашиваются, лёгкое, игривое настроение сминается. Тяжелы, видать, её мысли, уже, по всей вероятности, не девичьи они, совсем не девичьи. Он, чтобы приободрить, притискивает её к своему боку, чмокает в маковку.

Внезапно – тряхнуло, лязгнули ножи плуга, и трактор будто бы поплыл, оставлял позади нетронутой почву, лишь траву просекал. Афанасий шибанул педаль тормоза, рывками заглушил двигатель, выскочил из кабины. Смятой в кулаке кепкой – оземь, выругался, плюнул: станина плуга лопнула на сварном шве, зацепившись за брошенную в поле стальную раму сенокосилки; она скрыто и бог весть сколько лет пролежала здесь, отчасти засыпанная перекатым

песком и суглинком, плотно перевитая сухотравьем. Можно подумать, замаскировалась и поджидала своего часа. И вот, получается, – дождалась-таки.

В порыве ожесточённого отчаяния Афанасий подбежал к плугу, взмахнул кулаком, – не садануть ли по нему хотел? Однако только лишь глубоко и горестно вздохнул, поник плечами. Побрёл степью, забыв о Екатерине, в сторону села.

Глава 2

Вечером в зимовьюшке за огородами, тайком от всего света, над Екатериной колдовала древняя бабка Пелагея, знахарка, травница, повитуха, давнишняя доверительная помощница местных баб и девок, пошедших на вытравливание, выскребание плода своей незрелой, несвоевременной любви. Екатерина стонала, кусала подушку, а седовласая, сторбленная женщина, навидавшаяся на своём веку, лишь приговаривала, хладнокровно орудуя вязальной спицей:

– Ничё, девонька, ничё. Бог терпел и нам велел. Дитё убиваешь, посему и мучения тебе не по возрасту твоему малому, а по греху великому.

– Убиваю?

– Убиваешь, убиваешь, – бесцветно и нехотя поддакивала старуха.

Ночью через окно забрался к Екатерине в дом Афанасий, и она пересохшими, судорожными губами обожгла его и напугала:

– Хотел – убила. А забудешь меня, убью и тебя.

Целовал, стоя на коленях, потрясённый Афанасий её омертвело скрюченные, но пылающие руки:

– Люблю, люблю, Катюша, одну тебя люблю! Дай поступлю, учиться начну, а закончишь десятилетку – тебя вызову в город. Потом – всю жизнь вместе, любить буду до смерти единственно тебя, на руках буду носить. Любимая, прекрасная!

А она в бреду и жару, уже не разумея его, шептала:

– Убила. По греху великому. Убила...

Ушёл, покачиваясь и запинаясь, будто захмелел, обессилел. Выбрел, подальше от села и людей, на берег Ангара, уткнулся лицом в росную жёсткость травы, завыл без слёз. «Хотел. Убила. Хотел. Убила...» – занозами вонзались в его сердце жуткие слова.

Как жить теперь? Недавно, днём, так мечталось, так пелось во всём его существовании, так ясно виделась даль жизни и судьбы. Теперь же – мрак, жуть, путаница. А что вынесла его бедная Катюша, если сказала – «убила»? И беспрерывно втыкаются в его сердце беспощадные слова: «Хотел. Убила. Хотел. Убила...» И не спрятаться, не увернуться от них, и никак не обмануть себя, не успокоить. Кажется, сама тьма ополчилась и изрекает, наказывая, карая, затягивая в какую-то пропасть, как в могилу.

Чёрный окоём, наконец, стронулся замутью робкого утра. Переяславка мало-помалу выявляется избами и огородами из дремучих потёмков. Вспыхивают огоньки в окнах, коровы призывно мычат, овцы гомонятся, плещутся о воду вёсла бакенщика, птицы хлопают крыльями по густому, знобкому воздуху – отовсюду привычные приметы жизни родного села и поангарской округи. Так неужели рассвету, а потом и дню наступить? Неужели жизни быть прежней? Но понимает Афанасий – не бывать, не бывать ей прежней, не вернуться в беспечную, вольную юность свою. Пойдёт он сейчас по улице, встретит односельчан, дома увидит мать, отца и брата Кузьму, – но сможет ли он открыто смотреть в их глаза, привычно общаться? Как жить теперь, как жить?

А утро напирает, берёт своё, засеая дали земли и неба светом и сиянием. Просторы открываются шире, ярче, раздвигая пределы для неминуемого нового дня, для продолжения жизни. По Ангаре и волглым пойменным лугам раскатился блеск – солнце выплеснулось из-за хребта правобережья первыми лучами. Далеко-далеко стало видно: земля – беспредельна, небо – неохватно, и Афанасию хочется смотреть только в даль, единственно в даль. Там – другая жизнь, там – город, там столько возможностей, чтобы учиться, а потом продвигаться по жизни, там, несомненно, легче будет забыть ужас нынешней ночи и, может быть, удастся начать какую-то новую жизнь.

«Новая жизнь, новые люди, большие дела, бескрайние дели», – шепчет, как молитву, Афанасий.

Но одновременно его сердце тяжелеет грустью: Катенька, его бедная Катя-Катенька-Катюша! Он уедет из Переяславки, не может не уехать, потому что ему надо учиться, он оставит любимую и – что же она? Ему сейчас тяжело, а каково Катеньке, какие мучения она выдержала. А потом как ей будет жить без него? Зажигаются в памяти её удивительные, лучащиеся чарующим свечением глаза – не насмотреться в них. И не налюбоваться её кроткой, но гордой красой с роскошными волосами, с косой её знатной, не наслушаться её тихого, но строгого голоса – вся она пригожая, необыкновенная, желанная, единственная.

Чуть расслабилось сердце парня, потянуло губы к улыбке, да снова, будто карая или злобная, вторгаются в сознание страшные, ломающие волю слова: «Хотел. Убила. Хотел. Убила...»

Воздух густой, влажный, холодный, – Афанасий глубоким, зловатым захватом вбирает его в грудь, как студёную воду в жару, казалось, силясь вытеснить из неё гнетущие, угольными жгущие чувства и воспоминания.

Ангара перед ним как широкая, выстеленная зеленцеватым бархатом дорога; долга она, широка, ясна, дивна – иди и радуйся. Да, иди и радуйся. А какие просторы и дали вокруг! В груди ширится какое-то сильное, могучее чувство. Конечно же иди и радуйся, молодой, сильный, целеустремлённый. И смело, гордо иди.

Тайга по левобережью – нет ей пределов, великим лесным океаном захватила она землю, вздымается к небу валами сопков и гор. Промышляя с младшим братом Кузьмой, порядком исходил Афанасий левобережные дремучие леса за годы войны. Подкармливалось тайгой всё село, а Афанасий, фартовый, смекалистый охотник, к тому же неимоверно выносливый, упористый, набивал дичи столько, что раздавал старухам и бабам с малыми детьми. Они величали его – «наш кормилец».

Правобережье – обширное полустепь с полями, луговинами и подпушками перелесков, но немало и богатых, корабельных сосновых рощ. Охваченная полями Переяславка дородным своим туловом жмётся к Ангаре, будто корова, выбредшая с выгона, чтобы напиться воды. А вон кладбище – сереньким облачком прильнуло к склону холма; а рядышком с погостом – оборудованная под склады облупившаяся церковка без креста. Дорога-большак, вырвавшись из плутания по оврагам и буеракам, на Бельской седловине вонзается в Московский тракт и устремляется к городам – к Усолью-Сибирскому, а там дальше – и к самому, величаво говорили старые переясловцы, «граду нашему стольному» Иркутску. По этим дорогам он, Афанасий Ветров, пойдёт и поедет в большую, новую жизнь и столько всего ему предстоит совершить для людей и себя! Впереди, несомненно, интересная, прекрасная, захватывающая жизнь.

А позади неизбежное, горестное – война. Позади гибель в Сталинграде старшего брата Николая, полуголодное существование семьи с отцом-инвалидом, которому в Гражданскую осколком снаряда отсекло левую руку по плечо, и уже немолоденькой, хворой матерью. Позади и затаённый стыд, что, как не рвался, не буянил в сельсовете и военкомате, не попал на фронт, такой здоровый парнишка, уже лет с четырнадцати – мужик мужиком статью, норовом, да и умом не младенец. Зато в колхозе трудился за десятерых: и в конюховке подсоблял, и на скотник, если направляли, – шёл и ворочал навоз, и в трактор сел уже в тринадцать и был сноровист за рычагами как мало кто в округе, и в кузне был желанен – молотом омахивал будь здоров. Но успевал Афанасий и учиться, благо школу не закрыли, хотя собирались, потому что учеников из старшекласников набиралось к каждому сентябрю не более семи-восьми человек, и ближайшая школа оказалась бы за двадцать вёрст. Не находишься туда каждый день, пришлось бы оставить учение, удовольствовавшись семилеткой. Можно сказать, судьба поспособствовала, чтобы Афанасий закончил десятилетку, и теперь мечта его необоримая и лучезарная – высшее инженерное образование.

Начинается другая, совсем другая жизнь. Она непременно будет счастливой для всех. Афанасий верит: легче, веселее заживут люди и – сытнее, наконец-то, сытнее. Будут наедаться вволю. За войну многие семьи и лебедой пробавлялись, и крапивой, и жмыхом – кормом для скота. Что производил колхоз – подчистую фронту, госпиталям, заводам; даже молоко и картошку нечасто видел селянин на своём столе. И не придут отныне в Переяславку похоронки, – а их нагрянуло, переворотив души и судьбы, немало. Не слышать надрывного вдовьего воя, хотя плакать и скорбеть, конечно, ещё долго. Очень долго. Очень.

Стоит Афанасий перед Ангарой и тайгой, перед великими просторами земли и неба и ощущает себя – богатырём. Хочется ему героически, непременно как-нибудь ярко, с размахом, «как Стаханов», трудиться. Но в деревне он не хочет оставаться, ему здесь негде развернуться, вроде как мала она для него. Страна поднимается, отстраивается, и он хочет участвовать в великих стройках и делах.

Широка, дивна земля, на которой Афанасий родился и живёт, и он чувствует, что и жизнь его должна быть под стать его родной земле.

Уже светло – надо идти домой. Поспать, вздремнуть, конечно, не получится; позавтракает наскоро, что мать выставит на стол, и – в поле, вспахивать целину. С мехдвора уже слышны чихания и рокот тракторов.

Пошёл, зачем-то крепко, но и машисто ступая по тропе, да взглядом случайно скользнул в сторону пастушечьей зимовьюшки. Тотчас подскёлся шаг, будто запнулся Афанасий: снова вспомнилась Екатерина, его бедная, страдающая Катенька. Недалече от огородов перед развалом выпасных лугов сутулится зимовьюшка, схороненная от белого света черёмуховым чашобником. В этом пустующем зимами и ранними вёснами домике вечерами и любили, пьянея нежностью и восторгом, с нынешнего марта Афанасий и Екатерина. Истопят, бывало, печурку, расстелит Афанасий на топчане свою широкополую богатую медвежью шубу – медведя сам завалил, – прильнут друг к дружке – и нет всего белого света для них.

Опять всколыхнулось, будто шипами проскребло по сердцу: «Хотел. Убила. Хотел. Убила...»

– Да что же, всю жизнь мне терзаться?!

У кого спросил, в отчаянии помахивая головой, упираясь глазами в дорогу? Никого не было рядом, только его родная земля, стряхнувшая ночь, только распахнутое во все пределы небо, горящее зарёй нового дня.

Глава 3

Через неделю с небольшим, починив плуг и вспахав-таки задичавшее поле, Афанасий попрощался с селом и отбыл в город для сдачи вступительных экзаменов в политехнический институт.

Накануне вечером прокрался к Екатерине в дом. Лежала она на кровати тусклая, утянутая. Он не смог открыто посмотреть в её глаза, стоял на коленях перед её кроватью, тыкался губами в её ладони, как младенец. А она шептала, пытаясь погладить его по голове, но рука не слушалась, сваливалась:

– Любимый, любимый! Что бы не случилось, я навсегда твоя.

– Катенька, я виноват перед тобой. Виноват. Виноват...

– Глупенький, я – женщина, мне и положено маяться по нашим бабьим делам. – Помолчала, прикусывая корочку губы. – Ты меня не забудешь, не бросишь?

– Я тебя могу забыть, бросить?! Да ты что, Катенька, Катюша!

Она через силу улыбнулась голосом:

– Смо-о-о-три-и-и мне!

И следом проговорила очень тихо, чтобы, казалось, никто-никто не услышал, даже Афанасий, а может быть, и самой себе боялась признаться в этом:

– Я люблю крепко, до того крепко, что жутко больно бывает в сердце. – Помолчав, пришепнула: – Моя любовь не разорвала бы его.

Он, наконец, взглянул в её глаза, надеясь увидеть в них улыбку, ласку, прежнее, ещё совсем детское, милое ему простодушие. Но в её глазах зияли глубины, из которых сверкали и били острые лучи, а не как обычно – струился тихий, приветный девчоночий свет. Она разительно в день-два повзрослела, она стала другой – непонятной, непостижимой, какой-то не от мира сего, подумал Афанасий, потупляясь, очевидно, боясь её глаз.

Вымученная болями и бессонницей, Екатерина затихла, задремала. Растерянный, потрясённый, Афанасий, как замороженный, смотрел на её строгое прекрасное любимое, но тусклое, измождённое лицо, напомнимшее ему лики с икон, которые мать прятала на чердаке. Потихоньку, оборачиваясь, ушёл, ссутуленный, казалось, не имея сил распрямить плечи, вздохнуть в полную грудь.

Дома не смог уснуть, как не пытался. Её глаза, её слова, её страдания жили в нём, озадачивая, тяготя, мучая. «Что ж ты, любовь наша сладкая, загорчила, полынью запахла? А-а, вон оно чего: “хотел – убила”! – с преувеличенной язвительностью усмехнулся он во тьму, словно бы там мог кто-то скрываться и подслушивать его мысли. – Убила! Убила! Хотел! Хотел! Повинен, понимаю. Но жить-то надо! Чего же теперь изводиться? Забыть! Забыть!..» – отбивал он кулаком по спинке кровати.

Спозаранку в туманных сырых потёмках Афанасий уехал, точнее ушёл на большак, наспех попрощавшись со своими домашними; вроде как убежал. Остановил попутку, забился в угол кузова и видел только небо и смотрел, вглядываясь в него, казалось, чего-то отыскивая в облаках и высях.

Поначалу небо было глухим, дремучим, мертвенно-синим – и оно раздражало и даже злило Афанасия. Однако чем дальше от родного села – тем светлее, приветнее выявлял себя мир сей, и Афанасий утешался: вот как должно быть в жизни: светло, просторно и – оптимистично. Оптимистично! Хватит мрака! Войну выстояли, голодуху и – горевать? Ну, нет! В душе понемножку отпускало, но уже прежней юношеской беспечности и лёгкости, понял он, в ней не поселиться никогда.

Поступил успешно, по баллам опередив всех. Вскоре, как было принято, его с одногруппниками направили на народнохозяйственные работы; с октября – учёба, библиотечные

залы, общественные, комсомольские дела, непрменная вечерняя сутолока общежития. Новая жизнь порывом подхватила его душу и разум. Мало-помалу изглаживалась в памяти жуть той ночи и того мучительного прощания. А ненароком ярко и резко вспомнится – содрогнётся сердцем, поспешит к людям, чтобы в их кругу скомкались и приглохли нежеланные чувства и переживания.

Но Екатерину он не мог забыть – только и единственно она была его любовью, только и единственно о ней он думал с нежностью и печалью. Ни с кем не водился, ни одну девушку, даже самую красавицу и умницу, не подпустил к себе, как не увивались они возле столь видного парня, мужика-богатыря.

Глава 4

Что же Екатерина? Она долго и тяжело болела. Мать скрывала её от врачей, от глаз селян – держала дома взаперти, в сентябре не пустила в школу в девятый класс, потому что время было такое: за тайный, недозволенный властями аборт могла воспоследовать кара – тюрьма, лагерь, позор. Лечила как могла – мазями, примочками, отварами. По великому знакомству и за немалые, за ради Христа выклянченные у родственников и соседей, деньги обследовали Екатерину в больнице райцентра, и вердикт врача был ужасен.

Этот врач, седенький, с прищипленным чуть не на кончике носа потресканным пенсне, смешновато суетливый и очевидно смешливый старичок, сказал раскрасневшейся, стыдливо понурой Екатерине, которая впервые в своей жизни перенесла генекологический осмотр со стороны мужчины:

– Мало того, барышня, что спицей... или чем там из тебя изгоняли несчастного зародыша?... занесли инфекцию, так ещё, твои эскулапы лапотники, травмировали матку. Но уметь, любезная, ты не умрёшь, воспаление спадает, раны зарубцевались. Как на собаке, сами собой, – хохотнул он. – Молодой, здоровый организм берёт своё. Лечение я тебе пропишу и в стационаре полежишь немного, но-о-о! Гх, гх, видишь ли...

Старичок неожиданно осёкся: бодренькая насмешливость, по всей видимости, была привычной для него в общении с пациентками, уже въелась в его натуру, потому он и заговорил по инерции заматерелого профессионала в своём излюбленном назидательно-язвительном тоне и с Екатериной, однако, похоже, то, что он должен и обязан был сообщить ей, всё же заставило его опаматоваться, всерьёз задуматься. Он помолчал, прикусывая губу и отчего-то даже поёживаясь. Зачем-то встал, зачем-то прошёлся по кабинету и встал полуоборотом к окну, сцепив пальцы за спиной. Наконец, произнёс, не повернувшись к пациентке:

– Детей иметь вы *не* будете, – отчего-то обратился он на «вы» и снова замолчал.

Екатерину, как прибором, качнуло.

– Что? – тоненько спросила она, норовя заглянуть снизу вверх в глаза старика, но он не давался, и она выхватила взглядом только лишь потресканное стекло его пенсне, через которое остро и колко пробивался свет солнца.

– Н-да-с, неласково судьбинушка обошлась с вами, – не отозвался он на её вопрос, но задал свой, по-прежнему не желая смотреть в глаза: – Как же вы теперь будете жить? Впрочем, – снова спохватился он, вспомнив о своих профессиональных обязанностях, – вот направление в стационар и – ступайте, ступайте! С богом, – примолвил он тихо, в ладонь.

И, низко склонившись над столом, притворился, что занят бумагами: стал беспорядочно ворошить их, подносить близко к глазам, бормотать.

Екатерина, едва передвигая ногами, вышла из кабинета.

– Чего врач сказал, Катюша? – спросила мать, под руку выведя её на крыльцо подальше от людей, которыми был набит коридор.

Екатерина хотела ответить, но лишь просипела: нёбо и язык словно бы прикипели друг к другу.

– Бледнющая какая, аж сзелена! Ну, чего сказали-то?

Екатерина, показалось, выкашлянула:

– Жить, сказали, буду.

– А ещё чего?

Екатерина молчала. Без цели смотрела на первое попавшееся её глазам – на выцветший, потрёпанный непогодами плакат, который висел на заборе напротив: красноармеец пронзал штыком фашиста. Шепнула, разрывая слипшиеся губы:

– И я убила младенца. Как врага.

– Что, что, доченька? Какого врага? Ну чего ты?

Сглотнула и громко, вернее, отчётливо, явственно, приговором произнесла:

– Пустопорожня я теперь, мама.

– Ай! Ай! – вздрогнула мать как после неожиданного, вероломного хлестка. – Батюшки! Да тише ты: люди не услышали бы. Смотри, никому ни полсловечка. Ужас-то какой. Господи, за что?

Но как не скрытничали, как не утаивали свою скорбь – деревня прознала. Мать Афанасия на улице подошла как-то к матери Екатерины и сказала суховато, едва раздвигая замертвевшие в суровости губы:

– Ты, Любовь Фёдоровна, вот чего: Катке своей строго-настрога накажи, пущай боле не липнет к Афанасию. Ему здоровая девка надобна, чтоб дитятки были, чтоб по-человечьи всюю жизнь жилось. А так чего же соделается? Несуразица одна. Твоя теперь вроде как не парень, не девка, не рыба, не мясо, не то, не сё, как говорится, – без пощады колола женщина. – Уж не гневись на меня, а сыну добра хочу, и костями лягу, ежели чего.

– Да мне пошто гневиться, Полина Лукинична? – заробела сухонькая Любовь Фёдоровна перед хотя и недужной, присогнутой – спиной та маялась, сорвав её ещё в молодости на перекатке брёвен, – но величавой сложением и голосом матерью Афанасия. Зачастила не без подобострастия: – Ясный расклад: семья без деток – не семья, баловство на годик-другой. Поживут вместе маненько, да разбегутся кто куды. В Бога-то нонче веры нету. Обнюхались впотьмах, опосля в сельсовете закорючки поставили в бумажках и давай жить-поживать в срамоте и грехе.

– Стало быть, уговорились, – удовлетворённо и важно подытожила, немилостиво обрывая разговор, Полина Лукинична и степенно попрощалась.

* * *

И стала мать нащёптывать Екатерине, чтобы забыла она Афанасия, чтобы и думать не думала о нём. Поначалу не понимала её молоденькая дочь, почему следует забыть любимого. Хотя и сама сказала, что пустопорожня, да как же можно забыть своего «богатыря Афанасьюшку», ведь сердцу, известно, не прикажешь. Мать, видя забродившие в дочери недоверчивость и сомнение, – «додумать, дурочка неоперившаяся, ещё не может!» – напирала, и призывая, и втолковывая, и подчас срываясь на угрозы:

– Отступишь от Афанасия, забудь его. Напрочь изотри из памяти. Он парень ладный, славный. Он должен быть счастливым. А не отступишься – под замком буду держать, не доволю тебе даже издали видеть его. Доченька, уразумей: дитё ты ему не родишь, не одаришь его отцовским счастьем! Смирись! Афанасий утихомирится, если ты не будешь манить его, мельтешить перед его глазами. И оно всем из того выйдет польза.

Скажет так или немного иначе и – плакать, причитать, сетовать.

«Не рожу дитя? – исподволь холодно-влажной змеей вползал в разум юной Екатерины зловещий ужас её и Афанасия участи, её и Афанасия судьбы. – Он со мной будет несчастным? Смириться? Забыть? И он забудет меня? Поверить маме или своему сердцу?..»

Подумает и тоже – плакать, поскуливать. Но – украдкой, в бессонных ночах, гордо хороня и от матери и от всего света белого печаль свою безмерную. Но мать слышала, понимая сердце дочери, и потому бдительно и неусыпно подстораживала: не наложила бы девка руки на себя.

Не наложила, однако тиха стала, пасмурна, молчалива. До того часом задумается, что и громкого голоса, обращённого к ней, не услышит, не поймёт. Раньше с удовольствием тетешкалась со своей десятилетней сестрёнкой Машей, а теперь Маша подойдёт к ней, потянет за рукав – мол, поиграем, Катя, или – помоги с уроками. Но Екатерина приподнимет глаза на девочку, и та невольно потупится, отстанет: темь пустоты в них, ни искорки, ни лучика ласки

и привета. Парень какой подступит к Екатерине на улице, заговорит с игривостью – молчком отодвинется от него, и полвзглядом не поощрив.

Зимой, мало-мало оправившись, пройдя стационарное лечение, на ферму к матери устроилась дояркой, но людей сторонилась, ни с кем из женщин и даже со своими одногодками не сдружилась. Молчком работала, молчком и дома просиживала вечера, только много читать стала, к книгам как никогда раньше потянулась.

В январе определилась в вечернюю школу, блестяще выполнив контрольные работы за две первые, пропущенные, четверти. Она тоже, как и её любимый, хотела учиться, развиваться, её тоже влекла новина жизни, другие земли, города, она тоже верила в величие своей страны, которую и ей, комсомолке, поднимать, отстраивать, славить со всем народом. Афанасий мечтает о великих стройках, о великих делах – Екатерина хочет быть рядом с ним, а потому разве может она остаться какой-нибудь полуграмотной, «неучью», «деревенщиной»? Как горячо он рассказывал ей о своих помыслах и устремлениях! Заразил её, влюбив в свои мечты и планы. Она разгадала сердцем – учение становится для неё единственной тропочкой к своему любимому, по которой возможно будет когда-нибудь прийти к нему и остаться с ним навсегда.

Самые блаженные, самые яркие, самые желанные её мысли – об Афанасии. Как раздумывается о возлюбленном своём – разнежится девичье сердце, затянется в нём тоненький ласковый напев, а губы сами собой к улыбке потянутся. И – улыбается, блаженствуя, забывая, где она, что с ней. Однако – «Забудь его, напрочь изотри из памяти», – очнётся, обжигая в груди, задремавшая было горечь. Не выдержит – застонет, даже если люди поблизости. Спросят у неё:

– Ты чего, Катюша? То улыбаешься, то скулишь. Болит чего?

Не ответит, но чтобы не подумали чего-нибудь – улыбнётся, заспешит прочь от чужих глаз.

Мать, примечая безотрадные перемены в Екатерине и изболевшись душой, как-то раз сказала ей, уже не в силах унять досаду:

– Рожала бы тогда, ли чё ли. Зачем вытравила, со мной не посоветовалась, дурёха ты этакая? Старуха Пелагея сказывала мне, – мужичок народился бы.

Всхлипнула – муж вспомнился:

– Николай наш, родненький, царствие ему небесное, сгиб на этой проклятушей войне – вот ему продолжение было бы знатное. Мужиков-то ноне нехватка огромная. А так видишь чего спроворилось – Бог наказал нас, и тебя, и меня, и весь наш род Пасковых. Да уж и не впервой: в ту войну, в Первую мировую, его, Николаева, двуюродная сестрица Агрипинка тоже ведь вытравила плод, говорили, мальчонка был. Так потом ни один мужик в пасковском роду не народился на свет Божий. Вот этот должен был стать первеньким. От тебя. Нашей кровинушкой. Для всего рода искуплением и надёжой. Ах, как мы все наказаны, как покараны на веки вечные! Вон, победица какая приспела, народ по сей дён хмелен от радости и счастья. А нам, что же, печаль, тоска извечная? Боже праведный, помилосердствуй! Уж за Машкой буду смотреть, а ежели чего не по-людски сотворит, так сама прибью её, а потом уж и себя порешу!

Но как только сорвалось «и себя порешу», так сердце обдало жаром страха. Глянула украдкой на Екатерину: не взволновалась ли она, не родилась ли в её головушке шальная мысль?

Погладила Екатерину повдоль её роскошной, тугой косы:

– Не томись, доченька. Содеянного не поправишь. Без войны-то теперь *всем* счастье и фарт. Живи, как Господь уставил.

Екатерина спросила:

– Но *как*, мама, жить?

– Как все. – Подумав, повторила: – Как все.

И тихонько примолвила:

– Молись, авось Господь смилуется и... и даст тебе дитя.

– Смиляется?

– Известно испокон веку: всё в руках Божьих.

– Комсомолка я, как же мне молиться? И некрещёная к тому же.

Любовь Фёдоровна зачем-то обзирнулась, шугнула из комнаты только что пришедшую с прогулки Машу, чтобы девчонка потом не проболталась где-нибудь на улице среди детворы, тихонько-тихонько сказала в самое ухо Екатерины:

– Тайком в Тельминской церкви окрестила я тебя малюсенькой. Николай, царствие ему небесное, не хотел, упирался точно бык: в Бога не верил, коммунистом был по самую маковку. Шибко страшился, что прознают. А я с тобой тишком смоталась на подвернувшейся подводе, когда его в соседний район на уборочную отрядили.

– Но как же Бог даст мне ребёнка?

– А ты молись, молись, доченька. Господь всемилостивый.

– Всеми-и-и-лостивый, – певуче повторила Екатерина, очевидно вслушиваясь в редкое для себя, забываемое окружающими её людьми слово.

И частенько потом также пела про себя, если горечью начинало жечь сердце: «Господь всеми-и-и-лостивый». Но молиться пока не умела и в церкви ни разу не побывала. Может, и завернула бы, будь она где-нибудь рядом, в родном селе. Но в Переяславке церковь ещё в конце двадцатых частично разрушили, кирпичи использовали на постройку школы, частью растащили по дворам, в том, что уцелело, – то склады, то ещё что-нибудь по хозяйству. А ближайшая церковь – далеко, за десятки километров, в Тельме.

Глава 5

Однажды к Пасковым пришла старуха Пелагея.

Екатерина в сумерках стылого, завывающего февральского вечера возвращалась домой с фермы и в потёмках по-за поленницей приметила ворохнувшуюся в её сторону горбатую тень. Девушка испугалась, отпрянула, но, зоркая, разглядела сразу – это скрюченная летами и хвоями, запорошенная позёмкой старуха Пелагея приподнялась с чурки, на которой, похоже, уже долго сидела. Застыла до того, что едва губы раздвинула. Закашлялась, ржавью засипела:

– Наконец-то, дева, дождалась тебя. Чую смертыньку свою, а потому приковыляла к тебе, – повиниться должно мне, удавку на душе моей ослобонить хотя бы на крошечку. Ещё по осени прослышала о твоей беде, да чаяла – лекаря ошиблись, авось, надеялась и Бога молила, обойдётся. А сёдни в сельпо бабы взелись на меня: погубила-де ты, ведьма такая-растакая, девку. Едва не побили меня, кто-то в спину шпынул, кто-то плюнул вдогон. А лучше б было, отдубась они этакую тварь. Да чего там: убить меня мало, собаками затравить, четвертовать! Каюсь, дева: повинна и грешна я, что вытравила плод, непоправимый урон тебе причинила. Отговорить мне надо было тебя, такусенькую несмышлёнку, соплячку ведь ещё, прости уж. А то и к матушке твоей сходить: покалякали бы с Любонькой по душам, я ведь её сызмала помню, с родительницей ейной товарками мы были не разлей вода. Знаю, и все о том говорят, славная ты девка: и умница, и красавица, и труженица, и рукодельница, и норомом мягка и кротка, и косу не обрезала как другие шлынды, – дева ты, одно слово! Де-е-е-ва! Эх, счастья бы тебе выстелилось на цельную жизнь с Афанасием твоим. Хлопец он знатный, работающий, башковитый. В войну за дарма снабжал меня дичью, рыбки подбрасывал, лисьей шкурой однажды одарил. Всем селом боготворим его. Гордимся, что в городах он во всяких там академиях обучается. Чую, большим ему человеком быть. Но как же, родненькие, теперь-то вы? Матушка Афанасьева, слыхала я, взбеленилась супротив тебя: не нужна, мол, мне пустопорожняя невестка. Ай, ай, ай! Что же будет, как же вам пособить, деточки вы мои, какими словами и подношениями умиловить судьбину! Прощения не прошу, потому как непростима вина моя перед тобой и людьми, а вот так оно, додумкалась я, оно вернее будет, по-божескому.

И она повалилась перед Екатериной на колени, губами – по ступням её тыкаться, обутым в валенки.

– Что вы, бабушка, что вы! Встаньте, пожалуйста, не унижайтесь, – уже задыхалась слезами Екатерина, сражённая откровениями и скорбью старухи.

Попыталась поднять её, но силы оставили девушку, и она тоже свалилась на колени. Обняла старушку, и они вместе плакали, рыдали, и утешая друг друга, и поднимая глаза к небу, беспроглядному, задавленному тучами и мраком.

– Нет и не может быть вашей вины, бабушка, потому что сами мы решились. Не было бы вас – пошла бы я к другой. Не стойте на коленях, прошу.

– Я не только, дева, перед тобой преклонила, а – перед всем Божиим светом, перед всеми людьми, перед Переяславкой родимой, перед мужиками нашими, сгибшими на войне и покалеченными, перед всеми младенцами, коих я сгубила за свою долгую, но, разумею ныне, беспутную жизнь. Не утешай и не подымай меня, дева: дай помереть мне на сем месте, на коленях.

– Господь всемилостив, бабушка, – шепнула Екатерина, инстинктивно, как и мать её подчас, когда поминала имя Божье, оглянувшись: нет ли кого-нибудь поблизости, не слышат ли?

– Ай, как ты хорошо сказала. Не забыл бы Спаситель наш о тебе, дева, об Афанасии твоём, и пока жива я – молиться буду.

– Он и о вас не забудет, бабушка. Он же всемилостивый. Понимаете: всемилостивый!

– Конечно, конечно, дочка, всемилостивый. Но я-то уже отпетый человек, пропащая душа. Не надо обо мне помнить ни Богу, ни людям. Вычеркните меня из списка живших.

– Бабушка, бабушка! Какие страшные слова вы произносите!

Так разговаривали, приобнявшись, две женщины, младая, как распутившийся цветок под солнцем, и древняя, как обглоданное непогодами одинокое деревцо на пустыре, стоя на коленях друг перед другом во тьме и холоде, на промёрзшей земле, под ветром, невидимые никем из людей, но верящие, что Господь зрит их, внимает слова их и помыслы.

На непрестанный брех собак выглянула из сеней Любовь Фёдоровна – охнула, всполошилась. Раздетая, простоволосая, кинулась во двор. Вдвоём мать и дочь подняли в упорствовании зацепившуюся за слежалый, наледистый снег старуху, завели, уговаривая, всячески обласкивая, в дом. Поили чаем, потчевали припасами, все вместе всплакнули, попричитали, повздыхали, будто в комнате лежал покойник. Уже за полночь под руки увели стихшую, истомлённую Пелагею в хибарку её. Уложили в кровать, а предварительно затопили печь: в единственной комнатухе господствовала стынь. Разило нежилью; кроме сложенной из досок кровати, пары расшатанных стульев и стола ничего не было. С незапамятных времён обреталась старушка одна в этом полуразвалившемся, обнищавшем домике на самой окраине села, на опушке таёжного чащобника, почти что в лесу, и жильё её величали домиком на курьих ножках, а саму обитательницу его – ведьмовкой, каргой. Судьба Пелагеи поистине была безрадостной, изломной: двоих сыновей и мужа не дождалась она ещё с Гражданской, а иного счастья не захотела, ещё будучи тогда довольно молодой и к тому же красивой женщиной; нового семейного гнезда не свила, хотя могла. Говорили, что любила она своего мужа столь страстно и верно, что не смирилась с приговором судьбы, отнявшей у неё и мужа и детей. Так и жила одна, одиноко, закрыто, даже отстранённо от людей и их дел; ни в колхоз не вступила, ни разу в общих новых праздниках не участвовала. Только и знали о ней, что бабам была мастерицей пособить, в знахарстве дужа.

Через несколько дней соседи обнаружили Пелагею мёртвой в её жилище. Печь была нетоплена, холод – страшный, съестного – ни крошки. Одни говорили, что, мол, уморила себя голодом, другие – выпила какой-то травоядный отвар; судачил и даже злословил переяславский народец, не понимая старуху. Как жила, так и ушла от людей, – загадочно, тёмно, в одиночестве полном. Быть может, единственный человек, кто хотя бы немножко понял её и был готов к сочувствию и состраданию, была Екатерина: она догадалась, что душа у старушки была открытой, чтобы принять свет. И на похоронах Екатерина оказалась одной-единственной, кто плакал, впервые в своей юной жизни прикоснувшись к обжигающе ледяной тайне бытия, извечно замешанной на смерти. Почему старушка так жила и почему так умерла – кто теперь ответит, кто поможет понять? На поминках Екатерина услышала перешёпоты подвыпивших женщин: что, мол, когда-то судьбина жестоко обделила Пелагею, отняв у неё родных людей, и Пелагея в свою очередь сполна отыгралась за свои невзгоды и напасти, всю жизнь вытравливая зародышей, а может, и травя людей; даже случаи припомнили. «Глупые», – подумала о них Екатерина, вставая из-за стола и не желая слушать дальше и сидеть со всеми.

А ночью в постели затосковала, раздумалась и заплакала, давя дыхание, чтобы не заскулить: «Но если и я озлоблюсь на жизнь и судьбу? Бросит меня, пустопорожнюю, Афанасий, – и справлюсь ли я с ужасом одиночества? Ведь другого я никогда не смогу и не захочу полюбить!»

– Афана-а-а-сий, – на подвздохе шепоточком позвала она. Позвала в надежде на чудо, как случается с маленькими детьми.

Но чудо жило и билось только в её сердце.

Глава 6

Своим извечным чередом наступила весна. Уже с середины марта земля, хотя и дубела и потрескивала, поledenённая на знобких зорях, днём млела и сочилась в пригревках. Весна начиналась ранней, обещающей. И хотя утрами снова владычествовал мороз с позвоном и потреском льдинок под ногами, к обеду – неизменно великолепие весны с отогретым, духовитым – желанно для крестьянина пахло навозом и землёй – воздухом, с радужно искрящимися сугробами, с ласковым свечением высокого чистого неба. Над полями и лугами курчавились, тая, дымки. Ангаре ещё долго, до припёков апреля и начала мая, быть стеснённой льдом, однако вся она уже загоралась проталинами, поминутно взблёскивала вдруг рождавшимися ручьями и лужицами среди жирных, но уже изноздёрнных солнцем навалов обледенелого снега. Переяславка к концу марта вся вычернилась крышами построек, улицами и огородами. А к началу апреля снег уже полностью сошёл, ухватившись за землю лишь только в тайге, в посеверных тенётах. И хотя село стало выглядеть как-то печально наго, даже неприглядно, однако эти печальность и неприглядность тешили душу селянина после нынешней суровой, снежной зимы, обещая скорое долгое тепло апреля, мая и целого, целого лета впереди.

Зимой Екатерина сдерживалась, но чуть приглубило землю весеннее солнце – затомилась вся, каждой жилочкой своей захотела любви и привета. Не забыть ей Афанасия, не вытолкнуть его из сердца своего. Ждала любимого, как он и обещался перед отъездом, в январе после сессии, однако он не появился в Переяславке. Но не знала Екатерина – он слал ей письмо за письмом, рассказывая, как живёт, как любит её. Однако ни одно письмо не дошло до Екатерины, потому что на почте работала двуродная сестра Любови Фёдоровны Шура – ей по уговору и передавала их. Любовь Фёдоровна тишком да скоренько прочтает, всплакнёт, но одновременно и порадует ласковым словом парня, обращённым к её дочери, и – в печь бумагу, в полымя, предварительно зачем-то тщательно, на мельчайшие кусочки изорвав, словно бы боялась, что и огню не одолеть слов любви. Екатерине – ни слова, ни намёчка. Если же приметит, что дочь снова затосковала, сникла, начнёт честить весь мужичий род: что и нечестны они, что кобеля они окайные через одного, да про соблазны в городах размалюёт, про отчаянных бабёнок не забудет добавить, вешающихся на кого попадая. Екатерина не прерывала мать, не возражала, но на почту несколько раз забегала:

– Тётъ Шура, нет ли мне письма?

Полненькая, совестливо пунцовеющая тётя Шура, уставившись взглядом в пол, косноязыко бормотала:

– Да, подишь, нетути, Катюша.

И – бочком, в ползгиба от племянницы. С притворным усердием принималась перебирать ворохи бумаг и отправлений.

– Если будет – дайте знать. Прилечу пулей!

– Угу, – хоронила тётя Шура уже горящее лицо под стойку, и Екатерина видела только её широкую пухлую спину с повязанным на поясице – «ушками кверху», посмеивалась про себя племянница – козым платком.

Ни одного письма не попало в руки Екатерины. Но наведывались в январе в Переяславку бывшие одноклассники Афанасия, они тоже учились в Иркутске. От них узнала – жив-здоров её возлюбленный, что ещё в ноябре пошёл работать на завод драг: в стране не хватало рабочих рук, повсеместно требовались слесаря, плотники, кузнецы, – и вот он откликнулся на призыв обкома партии и записался в комсомольско-молодёжную бригаду. Днём – учёба, аудитории, зачёты и экзамены, а вечерами в будние дни и в дневную смену по выходным – в кузнечном цеху у горна, с молотом в руках.

«Какой же он у меня молодчага!» – гордилась Екатерина.

Терпела она, ждала, терпела, ждала. Да сколько же можно! Да что с ним, в конце-то концов, такое? Почему не пишет, как сулился? Надо во что бы то ни стало увидеть его: если бросил – пусть скажет в глаза. Не надо щадить, унижать ложью: перемелется – мука, говорят, будет.

В конце апреля не выдержала, как не может устоять перед напором высокого весеннего солнца снег: стужа, сугробы – но вот и ручьи, водополе по земле. Сорвалась: на выходные да с двумя заработанными по воскресеньям отгулами тайком отбыла в Иркутск. А матери сказала – на дальнюю ферму, на подмогу посылают.

Добиралась на перекладных, попутками, а то кое-где и пешком привелось. Изрядно потрясло её в кузове полуторки: дорога, хотя и прозывается Московским трактом, – сплошь в этих притаёжных районах ухабами и рытвинами. К тому же шофёру было по пути лишь до Усолья-Сибирского. На станции, увидела Екатерина издали, пыхтел, блистая красной звездой, паровоз пассажирского поезда, и можно было купить билет, но, досада, денег маловато: в платочке на груди пригрелись завязанные серебрушки-медяшки. В семье никогда не водилось лишней копейки, да и когда в колхозе последний раз оплатили трудодни «живыми» деньгами – не вспомнить, чаще – крупами, картошкой, изредка и понемножку убоиной. Снова ловила попутку, но остановилась лишь только подвода – телега с ворохом соломы, в которую впряжена исхудалая лошадка. Что ж, подвода так подвода. Лишь бы не задерживаться, а ехать, лететь, плыть, ползти к любимому, коли решилась.

Доскрипела телега до Биллектуя, придорожной деревеньки.

– Я, – буркнул возница, – дома.

А до Иркутска ещё километров под семьдесят. Пошла Екатерина по шоссе. Первая, вторая, третья машины не остановились: то людьми забиты, то грузами. Четвёртая притормозила; но место только в кузове.

– Живее! – гаркнул шофёр, выплёвывая изжёванный «бычок».

Забираясь по высокому щербатому борту, поцарапалась, занозилась, зашибла колено, но в душе – восторг, песня: скоро, скоро увидит любимого, скоро, скоро пристально посмотрит в его глаза и поймёт – нужна ли, не забыл ли, любима ли?

В дороге машина, чихая и сипя изношенным мотором, поминутно глохла, шофёр, матюгаясь и чиркая спичку за спичкой, чинил. А уже надвинулся серой гущиной вечер, из распадков и болотистых луговин потаёжья разбойником набрасывался зловатый ветер – знобило, лихорадило. Нигде не скрыться. Наверное, напрасно не оделась по-зимнему, теплее. На плечах – приталенная, кокетливо беленькая дошка на рыбьем меху, на ногах – трикотажные, в модную полоску чулочки да ботики на высоком каблуке. Не пуховой, хотя и громоздкой, но такой любимой шалью повязана голова – мяконьким тонкорунным гарусным платочком с игривыми серебристыми нитями. Напрасно, не напрасно столь легкомысленно обрядилась, но охота перед любимым показаться во всей красе, поразить его, очаровать, взволновать, наконец-то. Всю зиму прикупала в сельпо и выменивала на картошку у наезжих цыган одежонку, лелея в мечтах красивую и, несомненно, поворотную встречу с любимым.

К утру в знобких туманных сумерках добралась до «стольного града Иркутска». Высадили её где-то в Глазково. Глядит, озираясь, – безбрежная деревня перед ней, а не город. Из печных труб валит дым, собачий брёх несётся из подворотен. А ещё ржут и храпят лошади и даже слышно мычание коров и блеяние овец. Впереди, сзади, слева, справа – мгла, безлюдье, чужина. Куда идти, что делать? И только здесь осознала – ведать не ведаёт, где разыскивать Афанасия. Даже не знает, как правильно институт его называется. И в Иркутске, в большом городе, в такой несусветной дали от дома, от родной Переяславки – впервые.

У дородной бабки, обвешанной бокастыми корзинами с картошкой, спросила, где учат на инженеров? Та, поторапливаясь, видимо, на рынок и тяжело отдышавшись, мотнула головой:

– Ступай, девонька, туды: тама, кажись, анжанерный иститут.

Екатерина долго шла по петляющим гористым улицам и заулкам, вчитываясь в надписи на домах, выискивая какие-нибудь хотя бы мало-мальские приметы учебного заведения. Однако где оказалась – неведомо: в каком-то тупике с навалами брёвен и чурбаков; по-видимому, забрела на дровяной склад. У другого прохожего, шуплого старомодного дядечки в расколотых очках, с вдруг явившимся в голосе раздражением спросила, будто потребовала:

– Да где тут у вас, наконец-то, учат на инженеров?

Ей солидно и авторитетно указали в совершенно противоположную, далёкую да к тому же схороненную смогом сторону:

– Во-о-н там, сударыня, на правом берегу Ангары.

«Господи, помоги!» – в отчаянии на срыве взмолилась Екатерина, однако решительно направилась по указанному направлению. И, можно было подумать, на небесах услышали её возглас: вспомнилось взблёской заветное слово – «драга». «Завод драг!» – даже застопорилась она: на инженеров могут учить и в десяти местах, а вот завод драг уж точно один-единственный в городе. Метнулась к первому встречному, не на шутку испугав его:

– Скажите, пожалуйста, где делают драги?

Суховато, но обстоятельно ей объяснили, указав туда же, на правый берег Ангары. И она, словно бы крылья у неё вымахнули за спиной, побежала-полетела. Там обязательно знают её Афанасия, не могут не знать такого большого, бойкого, умного. Может быть, Афанасий и по воскресеньям работает? Вполне, потому что он стахановец, он семижилный.

Успевала и озираясь: кругом – город, кругом – другая жизнь. И сколько всюду людей и машин, – впервые столько видит. Машины рычат, как собаки, только что не накидываются на людей и друг на друга. Никто из прохожих и не взглянет на встречного, никто никого не поприветствует, у всех свои дела, свои заботы, каждый сам по себе, особняком. Не как в деревне: если на улице встретишь кого-нибудь, обязательно постоишь, поговоришь, хотя бы просто о здоровье справишься, а прощаясь – нередко и раскланяешься.

Вышла к железнодорожному вокзалу, одолев бессчётные, сплошь взъёмные холмы и замысловатые улочки, ещё раз два уткнувшись в тупик, в высокие заборы из горбыля. «У нас в деревне таких не встретишь. От кого запрятываются?» Площадь перед вокзалом заполонена народом. Трубят, пыхают паровозы, скрежешут, громяхают сцепляемые вагоны. Поминутно свистит постовой милиционер, чеканно отмахивая полосатым жезлом. Из репродукторов – громогласное хрипение объявлений. Выбилась из толчеи, побежала по очень длинному мосту через Ангару. Той стороны тревожно не видно – кварталы в замесе тумана и дыма. Спешит Екатерина, обгоняя прохожих: любимый где-то близко. Однако по-прежнему зорко примечает черты и чёточки этой новой для себя жизни: река ещё во льду, лёд же – сер, чёрен, прокопчён дыханием города с его кочегарками, неисчислимыми трубами печей, выхлопными газами автомобилей, дымом и паром локомотивов. Дома Ангара другая: в любое время года сияет, светится, маня к себе, нежа глаз и сердце. Что же здесь? – жалкая она, сиротливая, может быть, и ненужная людям, какая-то обременительная. Никто на неё и полвзглядом не глянет, все торопятся, глазами – в дымную даль или же под свои ноги.

За мостом Иркутск хотя и стал на город походить, но всё одно удручил и опечалил Екатерину. «Небоскрёбы» – она впервые увидела четырёх- и пятиэтажки – шеренгами заслоняли и без того сегодня низкое, наморщенное небо, угадываемые таёжные просторы. Солнца не видно. Трамваи громяхают по стыкам рельс; густо автомобилей и людей. Отовсюду шум, треск, гвалт. Запахи неприятные, чуждые; пыльно, дымно. Вот он какой город: неуютный, равнодушный, суматошный, всяк собою занят. И думает Екатерина: пожил её Афанасий здесь и – каким же стал? Ему тайга нужна, раздолье полей, «наша» Ангара, а городе он захилеет, точно большой зверь в тесной клетке.

У хлебных, продовольственных магазинов – давка, ругань, рядом костры дотлевают: видимо, народ с ночи толчётся в очередях. Ещё голодно живётся, хлеба мало. Но Екатерина

зимой слышала на комсомольском собрании, что уже в нынешнем году продуктов будет в достатке и продовольственные карточки, наконец, отменят, – так сказал по радио товарищ Сталин, так напечатали в «Правде». А уж если что сказал товарищ Сталин, а уж если о чём пропечатали в «Правде», знает и верит Екатерина, – тому иначе никак не бывает. Сказал в начале войны товарищ Сталин, что победим врага, и – победили. Вот какое его слово! Его слово, слышала Екатерина, – «самая стальная на свете сталь». Ей хочется подойти к очереди и сказать: «Люди, дорогие, пожалуйста, потерпите ещё немножечко: скоро жизнь станет лучше и легче. Мы все любим товарища Сталина и верим ему».

А вон на площади и портрет самого товарища Сталина: очень большой, под стеклом чёрного полированного «ящика» – назвала в себе Екатерина громоздкую, толстую раму, – окаймлён пышными искусственными розами. Под ним череда «портретиков» – члены политбюро, соратники. Торжественная, величавая, «как иконостас», невольно сравнила Екатерина, композиция из портретов. Подумала, что точно покойника в гробу украсили товарища Сталина этими мишурными бумажками. «Ой!» – испугалась своих мыслей и осмотрелась, словно бы кто-то мог услышать её внутренний голос, разгадать чувства. Но услышать её могли единственно только воробьи и голуби. Они слетались в примыкающий к площади сквер, чтобы полакомиться зерном и семечками, которые раскидывали отдыхающие граждане.

Идёт, торопится, но с неослабевающей пытливостью вглядывается в приметы городской жизни. Чем таким неприятным пахнуло? Видит: рабочие лопатами укладывают на дорогу какую-то чёрную жирную кашу, уплотняют её тяжёлым ручным катком.

– Что это? – любопытствовала Екатерина, приостановившись.

– Чёрная икра! – загоготал маленький мужичок в заношенной, клочковатой армейской телогрейке, под ней – выцветшая гимнастёрка без подворотничка. Левая щека у мужичка срублена – торчит страшный стянутый шрам, и уха нет. Фронтовик, – поняла Екатерина и почти тельно опустила перед ним глаза.

Вся бригада покатила хрипатым прокуренным хохотом, очевидно радуясь поводу, чтобы немножко передохнуть. На многих военное заношенное, без погон и других отличительных знаков обмундирование. Екатерине ясно, что и они фронтовики.

– Хошь, красавица, попробовать? – не унимался маленький мужичок без уха. – На-кась мою боевую подружку, – вынул он из-за голенища стоптанного солдатского кирзача ложку.

Екатерина, преодолевая замешательство и зажигаясь общим весельем, бойко отозвалась:

– Эй, ты, умник: бери больше – кидай дальше, а пока летит – отдыхай!

Таким манером в колхозе на ферме грозная и рослая «бригадириха» Галка Кудашкина подгоняет мужиков, которые, нередко с ленцой и поминутными перекурами, загружают в телегу навоз.

– Во отрезала! Молодцом, девах! – Довольны рабочие; уважительно поглядывают на Екатерину.

Однако ей самой уже совестно за свою выходку, и она тихонько прибавляет – как обычно говорят у неё в деревне:

– Бог в помощь.

Но её не расслышали – мужичок без уха, скручивая козью ножку, принялся балагурить:

– Помню, у нас в медсанбате, братва, была такая же шустрячая девчонка – медсестрёнка. Ей, случалось, попервости какой-нибудь новичок – словцо, ласковое да приветное, а то с любовностями всякими разными. А она ему тоже эдак ласковенько: подь-ка сюды, котик. Зайдёт за ней в процедурную, уже и млеет весь, она ж его, простака, хватъ за шкирку: получи укол!

– В язык, что ли? – уточняет кто-то, потряхиваясь в хохоте.

– Не-е, пониже.

– Пониже от брюха?

Все гогочут, мужичок развесело и азартно отзывается, но Екатерина уже далеко. Скорее к любимому!

Пробегая мимо церкви со сломленным, скособоченным, но так и не сбитым, не сорванным, словно мощными корнями вросшим, крестом, услышала – изнутри храп и цокот лошадиных копыт. А во дворе солдаты с голыми торсами под команды бравого усатого старшины усердно выполняют гимнастические упражнения. Несомненно – здесь расквартированы кавалеристы нашей доблестной Советской армии, самой могучей в мире, самой справедливой, одолевшей фашистов и японских милитаристов, – понимает Екатерина. Но она смущена и озадачена: как же можно было превратить храм в конюшню?

На жутко ошарпанном здании поликлиники заметила женскую скульптуру без головы. На яростно алом плакате с призывом «Товарищ, равняйся на Стаханова!» кто-то исправил в фамилии букву «х» на «к» и получилось – «на Стаканова». Видит: красивые дома, ухоженные, с изысканной лепниной, однако рядом с ними – сущая скудость: гнилые, провалившиеся по самые окна в землю бревенчатые развалюхи. И снова всюду – заборы, изгороди, сплошь дырявые, облезлые, скособоченные. На улицах грязь, мусор, помойки. Снуют стаи бездомных собак. Екатерина морщилась, сердилась. Невольно оглянулась в сторону площади, Дома Советов, словно бы в надежде, что товарищ Сталин, даже будучи портретом, всё видит, всё знает, всё понимает и кого надо заставит навести порядок, накажет, если понадобится. Таковой была вера её сердца.

Возле строящегося высотного дома увидела необычных людей: они были облечены в одинаковое пятнисто-песочного окраса воинское обмундирование, на головах – непривычного покроя, тоже пятнисто-песочные шапки с клапанами на ушах, на ногах – с коротким голенищем ботинки, а не привычные для служивого человека сапоги. Поняла – японские военнопленные. Она впервые увидела иностранцев. И впервые наяву перед ней враги. Призадержалась возле разношёрстной кучки зевак, пытливо всматривалась: какие они – иностранцы, какие они – враги? Их человек сорок-пятьдесят; а часовых всего двое. Работают монотонно, ритмично, без каких-либо лишних движений; можно подумать – заводные. Но Екатерине ясно: не ленятся, не отлынивают, действуют с пониманием и даже усердием. Никто не подгоняет их, не командует ими.

Так вот такие они и есть – враги? – силилась Екатерина разглядеть что-нибудь особенное в японцах, возможно, – зверское, ужасное, омерзительное, то, что часто видела на плакатах и в кино. Но перед ней были просто люди, мальчиkovато малорослые, поджаристые, очень похожие на местных бурят и эвенков; выходит, что всего-то одеждой – *не* наши.

Какая-то женщина сказала, прицокнув:

– Гляньте-ка: порядок так порядок у этой неруси! Говорят: чуть чего заковечвятся – им сразу палками по спине.

– Неужели *наши* солдаты бьют? – спросила Екатерина, вздрогнув сердцем и невольно нажав на «наши». Наши, победители, герои, комсомольцы, а то и коммунисты, не могут истязать, – была она тверда во мнении.

– Зачем же, девушка, наши – ихнее офицерье и нахлобистывает.

«Да, они не такие, как мы», – спешит юная Екатерина с выводом.

Слышит другую женщину:

– Нонешним декабрём на улице Русиновской, там, где дорога круто в гору забирает, машина с японцами опрокинулась. На ночлег везли их. Время уже было позднее, потёмки стояли. Должно, не достало мощи двигателю, – сама я видела: машина застопорилась посерёдке горы и давай юлозить вниз. Секунда-другая – и все японцы с машиной вместе рухнули в кювет. Кузовом повалило трансформаторный столб. Ой, батюшки: заискрило, аж светло сделалось, а следом полыхнуло – страсть! Крики, рёв, суматоха. Сбежался народ. Какой-то мужик, наш, русский, потом сказали нам, что фронтовик, кинулся в полымя, точно в воду. Хвать одного

японца – швырь его в сугроб, хватъ другого – швырь туда же. Третьего только сграбастал, да как бабахнет, – бензобак разорвало. Мужик наш и сгинул вместе с японцами в огне и чаду. Никто не спасся, кроме тех двоих, которых выволок. Примчались пожарки, скорая помощь, а уж спасать-то и некого. Сгибло душ тридцать. Страсть!

– И стоило нашему дурню погибать из-за этих гадов, – сплюнул какой-то видный мужчина в импозантной шляпе и с изящно-тонкой тростью.

Женщина помолчала и прибавила тихонечко, на подвздохе:

– Так ить все люди.

– Верно, верно, все люди, – услышала Екатерина за спиной более уверенный и крепкий голос. – Всех жалко. И своих, и врагов. Чего уж: по-человечьи надо.

– Царствие им небесное, – вплёлся старушечий голос.

Мужчина в шляпе и с тростью сплюнул под ноги, громко, смачно, и, зачем-то натуженно супясь гладким лицом, пошёл своей дорогой.

Все люди, всех жалко, – безотчётной, необъяснимой радостью разлилось в сердце Екатерины, когда, выпросив, где завод, поспешила в желанную сторону, к любимому.

Какая радость: солнце, наконец-то, пробилось и заплескалось в окнах высокого, длинного здания в начале улицы Карла Маркса. Несомненно: завод, завод драг, тот самый, Афанасьев! Но в груди засвербил голосок испуга.

Глава 7

За металлическим решётчатым ограждением проходной бродил хмурый дядька в шинели, с кобурой на боку, – понятно, охранник или вахтёр, и, разумеется, без пропуска хода нет. В деревне куда хочешь заходи – на ферму, в сельсовет или же на любое подворье, а в городе запутанная, со всякими подвохами и несурязицами жизнь.

Раскрываясь, угрюмо заскрежетами высокие металлические ворота, показалась широкая морда грузовика с длинным прицепом, на котором громоздко возлежало нечто колоссальное – какая-то металлическая деталь, часть механизма или конструкции, – не могла понять Екатерина. На заводе вершится нечто великое, возможно, эпохальное, нужное для всей страны, для народа, а, стало быть, вероятность, что её Афанасий трудится именно здесь, чрезвычайно высока: ведь он так любит размах по жизни, значимость, грандиозность в помыслах и делах!

Видит: люди на проходной показывают охраннику серые книжицы – пропуска. Тот важно и сердито в каждый вглядывается. Эх, была не была! – и Екатерина нырнула между медленно выкатывавшимся прицепом и растворённой воротинкой. Вихрем ворвалась на территорию завода. И надо бы теперь пойти спокойно, таить от окружающих своё бурлящее волнение, однако Екатерина не совладала – припустила что было духу.

За спиной заверещал свисток. Охранник – прыжками за нарушительницей. Сцапал её за косу, смял в кулаке волосы с гарусным платком:

– К-куда? Стоять! Стрелять буду!

Заволок в служебное помещение; там ещё двое охранников, и все с кобурами, и все хмуры. Насмерть перепуганная, ошеломлённая, Екатерина заскулила, как ребёнок:

– Дя-а-а-деньки, отпустите, пожалуйста!

– Вызову чекистов, они тебя, шпионку, и отпустят... годков через двадцать, – злобной весельцой занялись глаза охранника, словившего преступницу. – Погнёшь в магаданских лагерях, похлебаешь пороссячью баланду.

Стужей ужаса окатило Екатерину: поняла – пропала! С раннего детства запомнились ей сосланные взбунтовавшиеся донские кулаки – мужики, бабы, детишки, старики. Пригнали их от железной дороги преддзвездом; уже лежали снега и утрами трескуче примораживало. Окриками и уськаньем собак остановили колонну едва бредущих, голодных, оборванных людей в поле неподалёку от Переяславки. С машин были струганы мотки колючей проволоки, доски, брёвна, инструменты. Офицер сказал изыбшим, измождённым людям коротко: хотите выжить – стройтесь. И люди без промедления взялись строиться. Но первым делом было велено вкопать столбы и натянуть колючую проволоку, и люди без ропота за двое-трое суток непрерывной работы создали для себя зону, острог. Потом, на зорях, когда солнце чуть осветит землю, развиднеется, в лагерной стороне клацали выстрелы. Переясловцы шептались: солдаты больных-де пристреливают, потому как за колючкой свирепствует какая-то зараза. К лету лагеря не стало; солдаты скрутили в мотки проволоку, разобрали наспех сколоченные лачуги, вывезли всё до последней досточки. Куда подевались заключённые – переясловцы не знали. Однако в лесу, по оврагам, в болотистом урочище то там, то тут натывались на свежескопанную, местами сорванную динамитом землю. Неужели всех перестреляли и закопали, как собак? – единственно глазами и отживались селяне спросить друг у друга.

Теперь и Екатерине попасть за колючку, сгинуть на Колыме! Только что сердце жило любовью, ожиданием, только что она чуяла всем своим существом цвет, вкус и запах счастья, только что летела душой над всей дольней жизнью, однако мгновение, другое – и она сражена и смята твердокаменными законами человеческого общежития, людской косностью, узкобостью, ожесточением, злобным азартом. Не увидеть ей более ни матери, ни сестрёнки, ни Афанасия, ни родного села, ни родимой Ангары. Убьют и её, как за околицей Переяславки

тишком поубивали, а то и заморили голодом, тех несчастных мужиков, баб, детей и стариков! Господи! – чуть не вскрикнула она.

Но – что такое? Один из охранников, рыхло-щекастый, красноносый, словно Дед Мороз, дядька, улыбнулся. Не усмехнулся, не ощерился, глумясь, злорадствуя, а просто улыбнулся, как и может, видимо, улыбаться хороший человек.

– Да будя тебе стращать девчонку. Глянь на неё: ни жива ни мертва. – Обратился к Екатерине, присев перед ней на корточки: – Ты чего, дурёха, хотела на заводе?

Она недоверчиво, скорее опасливо заглянула в его глаза, увидела в них голубовато искрившиеся рябинки, которые «зайчиками» помигали ей. Поняла: обманывать нельзя.

– Дяденька, к любимому я приехала, – сказала она по-детски наивно и жалостно.

– Кто ж твой парень, красавица?

– Афанасий. Афанасий Ветров.

– Такой огромный детинушка?

– Ага!

И все охранники, вспомнив приметного Афанасия, улыбнулись.

– На проходной, красавица, другой раз заставляем твоего богатыря скинуть тулуп и даже шапку: в дверной проём не может втиснуться ни по бокам, ни в высоту. А косяк и без того расшатан – штукатурка сыплется.

На аппарате покрутив диск, соединились с цехом, вызвали, с умыслом не объясняя причины и хитровато перемигиваясь друг с другом, Ветрова.

Екатерина действительно стала ни жива ни мертва: а вдруг он холодно встретит её, а вдруг у него уже *другая*, если столь долго не писал?

Глава 8

Вздрыгнув, увидела его в окошко – шёл он от цеха своим машистым крепким шагом. Широко распахнул дверь, шоркнул стежкой и туго натянутым на голову танкистским шлемофоном по дверному косяку, так что посыпалась штукатурка. Не заметил поджавшуюся на топчане Екатерину, строго и с едва сдерживаемым раздражением спросил у охранников:

– Кому я тут нужен? Работы не впрок. Ну, чего вызывали?

Они, посмеиваясь, молчком вывалили на улицу. Красноносый в спину подтолкнул Афанасия к Екатерине:

– Глаза-то разуй... танкист. Да не раздави своими гусеницами птаху!

– Катя!

– Афанасий!

Оба, обомлев, остановились друг перед другом. Слова больше сказать не могут и не знают, что ещё надо сделать, как поступить.

После долгой разлуки каждый увидел в другом – вспышкой ли, озарением ли – что-то такое новое, удивительное, прелестное, в мгновение ока разглядел в любимом ранее отчего-то незамечаемые, но такие, оказывается, важные черточки. Разлука, замечено, обостряет зрение души. Екатерина заметила у Афанасия на его массивном скуловатом подбородке крохотную ямочку, припорошенную пушком. Казалось бы, ямочка да ямочка, у кого её нет, пушок да пушок, у всех подростков и парней он когда-то пробивается, со временем превращаясь в щетину. Афанасий – мужиковатый, с пытливыми строгими глазами, внешне уже совершенно взрослый человек, однако эта притаившаяся под пушком ямочка неожиданно сказала Екатерине, что он ещё – мальчик, мальчишка, незащищённый, доверчивый. Что душа у него, как и эта ямочка, прикрыта от людей всего-то пушком, пушком его деревенского простосердечия, распахнутости. И шлемофон танкиста – явно малой ему – натянул на голову для того, чтобы можно подумать, поиграть в войнушку.

Что же Афанасий открыл особенного в Екатерине? Стоит она перед ним всё такая же низенькая, худенькая, «точно тростинка», в «глупенькой одежке, как девчурка», однако ему представляется – она гораздо взрослее его, бывалее, что ли. Но что же в ней изменилось? Глаза. Они, глаза её, чудесные, незабываемые. Они прекрасные, чарующие. И в них по-прежнему сияет этот диковинный, невозможный чёрный, но одновременно и светлый огонь. Но что же такое с ними? Афанасию почудилось, что глаза его возлюбленной намного дальше от него, чем само лицо её. Невероятно: так не может быть! Она как бы смотрит на него из каких-то далей или же – что кажется Афанасию точнее, но вместе с тем и смущает своей противоречивостью, – из глубин.

Она страдала, – понял Афанасий.

– Ну, вот и свиделись, – вымолвил он, не в силах оторвать взгляда от Екатерины.

– Ага, свиделись, –дохнула она, и вся, как надломленная, ослабевшая, покачнулась к нему.

Он легонько принаклонил её голову к своей груди.

– Что ж ты не отвечала на мои письма?

– А ты разве писал?

– Писал. Часто писал. А выехать, прости, никак не мог: и учусь, и работаю, как видишь, и по комсомольской линии под завязку в поручениях.

«Неужели тётя Шура, чертовка такая-сякая, перехватывала на почте письма и маме тишком передавала?» – подумала, прикусив губу, Екатерина, но Афанасию не сказала о своей догадке.

В окошко стали заглядывать охранники – лыбились, подмаргивали, весело между собой переговаривались, пыхая беломоринами.

– До окончания смены, Катюша, ещё часа три. Знаешь что? Айда-ка в цех: увидишь, как я там тружусь. Я уже чуть не бригадирую!

Она усмехнулась: её любимый всё такой же хвастунишка.

Как девочку, потянул её за руку.

– Ой, а меня не арестуют вохровцы?

– Пускай только рыпнутся... дармоеды!

И он хозяйской широкой поступью повёл её к чадающему трубам цеху. Она едва не вприпрыжку поспевала за ним. Оглянулась – не бегут ли охранники, не целятся ли из пистолета? Те молчаливо и загадочно поглядывали им вслед.

В цехе – грохот, лязг, – просто ужас. Дымно и копотно. Екатерине в первые мгновения показалось, что она угодила на пожарище. Цех длинный, бескрайний, чёрный. Перед глазами мелькали, выныривая из смога, чумазые потные рабочие. В Екатерину внезапно пыхнуло огнём из растворённых створок какой-то гигантской печи, в которую подбрасывали уголь. Испугалась, отпрянула, но Афанасий озорно подмигнул ей и потянул дальше. Печь осталась позади, однако по-прежнему страшила Екатерину: пламя утробно, зверовато урчало вдогон. Искрами рассыпался разрезаемый газовыми горелками металл. Скрежетал и трезвонил где-то вверху кран, катясь с грузом по монорельсам. «Боже, Боже...» – только и могла Екатерина произносить в себе, озираясь. А Афанасий – спокоен, твёрд, оживлён. Он поминутно останавливается возле рабочих, что-то торопливо и на непонятном для Екатерины техническом языке говорит им. Ему почтительно отвечают. Он, понимает Екатерина, здесь свой, до зарезу нужный человек.

В каком-то сумрачном, но жарком закутке с двумя полыхающими горнами – в ответвлении от основного цеха – наконец-то остановились:

– А вот и наша кузня! Мы тут, Катя, непыльной работёнкой занимаемся. Ювелирной, можно сказать.

– Ювелирной? Украшения изготавливаете, что ли?

– Украшения! – засмеялся Афанасий. – Драга женского рода? Женского. Ну, вот мы и украшаем её серьгами и кольцами, – всякими, знаешь ли, женскими побрякушками. Пудика, правда, некоторые в два-три.

Екатерина видит: усатый, пропотелый и прокопчённый рабочий в залоснённой спецухе, ощериваясь в натугах, вынимает из горна зажатое в щипцах раскалённое железо, приставляет его к наковальне. Другой рабочий, кряжистый, чёрный старикан в колом стоящей робе, символически поплевав на ладони, замахивается увесистым молотом. Афанасий спешно заводит, чуть ли не заталкивает, Екатерину в бригадную бытовку с окошечками в цех, а сам – прыжками к кузнецам. Подхватывает молот, не без щегольства перекидывает его из руки в руку, успевая подмигнуть Екатерине, и на пару с первым молотобойцем попеременно бьёт по раскалённой заготовке. Раз по пятьдесят ударили. Потом поочерёдно рабочими, дежурящими у горнов, подсунут второй кусок рдяно горящего железа, следом – третий, четвёртый, пятый; вскоре Екатерина в счёте спуталась.

Кузнецы слаженно, хмуро плющат, сминают, ваяя, металл. Екатерина очарована и восхищена их работой. А как красив, как прекрасен её возлюбленный! Он – силач, богатырь, искусник.

Выкованное железо, «загогулины», смешливо определила в себе Екатерина – то ли «хомуты» выходили, то ли «коромысла», то ли «подковы для громадных коней», и ещё что-то такое, не совсем понятное, – отбрасывали в тележку. Её откатывали к токарным и сверлильным станкам и возвращали порожней уже другие люди; они же обрабатывали, отшлифовывали «загогулины». От этих рабочих сквозило чем-то особенным, какие-то они были не

совсем понятные, и Екатерина невольно стала приглядываться к ним. Их было пятеро-шестеро и внешне они отличались от остальных тружеников цеха своей чистой, даже, похоже, отглаженной спецодеждой, которую неуместно было бы назвать спецоухой или робой. Ещё они рознились неторопливыми, лишёнными суетливости движениями, предельной деловитостью, скрупулёзностью. Вроде бы мешкотные с виду, однако детали обрабатывали скоро. И контролёр, прищуривший, юркий дедок, он поминутно выныривал из дымного мрака цеха и чего-то вымерял в «загогулинах», ни одной не забраковал, а, напротив, с помощью других рабочих все до единой куда-то увлакивал на тележке, украдкой, как показалось Екатерине, подмигивая одному из мастеров, от которого принимал очередную деталь.

Выдался перекур. Афанасий и его товарищи ввалились в бытовку. Екатерина почти физически почуяла, как от них дохнуло жаром – до того они горели лицами и полуголыми торсами. В нетерпеливой очерёдности залпом выхлебали по кружке, а кто и по две, воды, машисто, с роспесками зачерпывали её из жбана. Кто-то закурил в бытовке, но его тишком пхнули в бок, указав глазами на юную нежданную гостью. Наконец, двусмысленно перемигнувшись, оставили Екатерину и Афанасия одних, присели на корточки у бытовки и блаженно задымили папиросами и самокрутками.

Екатерина спросила у Афанасия, кто те люди в опрятной спецовке, притулившись передохнуть в уголке, в сторонке, а не со всеми, и, похоже, с опаской озираются.

– Немцы. – И зачем-то поправился: – Немчура. Из Архангельска сосланные. Эвакуированные, сволочи, драпают по домам, в свои тёпленькие края. Сибирь им, видишь ли, не мила, а у нас теперь работать некому: вон сколько поднялось кругомстроек, ширятся леспромпхозы. Что там: поговаривают, Катюша, о гидростанциях на Ангаре! А наш завод так завален заказами по самую маковку. Бают, на три пятилетки вперёд. Стране, как воздух, нужно золото, а без наших драг сколько его добудешь, к примеру, в бодайбинской тайге? С гулькиным нос! Ну, вот, партия и правительство пособляют нам всякими сосланными.

– Зачем ты так – «немчура», «всякими»? Оторвали людей от родной земли, пригнали невесть куда, разместили, поди, в казармах или сараях. Здесь им всё чужое. Да и Сибирь – мачеха для них, считай, каторга. Мы-то, сибиряки, ко всему привычные, двужилые. Знаешь, Афанасий, жа-а-алко людей.

– Нечего, Катя, жалеть: они – враги народа, – перебил Афанасий, даже взмахнул кулаком, как нередко делают, подумала Екатерина, выступающие с трибуны. – Немчура, одним словом. А точнее – фашисты. – И неожиданно выкрикнул, высунув голову в форточку: – Эй, Гитлер капут! Хэндэ хох, зольдатен!

Рабочие, курившие возле бытовки, захохотали, а немцы сдержанно улыбнулись, не разжимая губ и зубов. Екатерина поняла – робеют, а то и боятся. Она, туго принагнув голову, молча и прямо смотрела на любимого. Стоит он над ней – могучий, лобастый, но – в этом ничемном, наглобученном словно бы для войнушки, шлемофоне, с усиком сажи под носом, с разорванной на колене гачей. Господи, да он просто ещё пацан! Детинушка! Надо бы засмеяться, однако налипло на сердце тягучее чувство.

– Ну, вот те раз: надулась! – осторожно, будто опасался чего, приобнял он Екатерину. – Пойми, всех этих гадов поубивать мало.

Она порывом отвернулась от него. Не знала, как возразить, чем урезонить. Что ведала её юная страстная душа, тому ещё не вызрело слов.

Он смутился, забормотал:

– Чего уж, работяги они что надо. И аккуратисты ещё те. Нам, ясное дело, поучиться бы у них.

Екатерина, поплевав на платочек, с немилостивым тщанием обтёрла у него под носом, подтолкнула в спину к выходу – кузнецы снова взялись за молоты и щипцы, а немцы встали к станкам.

– Иди работой. Агитатор-провокатор.

Громыхали уже до самого конца смены. А о её завершении возвестил протяжный, осиплый, как брех старой, но преданной собаки, гудок.

Глава 9

На улице Екатерина зажмурилась – свету, красок сколько! Солнце хотя и приникло уже к кровлям, но ещё грело и блистало. Денёк разыгрался по-летнему тёплым, духовитым. Природа млеет и, возможно, дожидается повеления: расцветай, распускайся, красавица, зеленью! Но в Сибири растительность, наверное, выучена как нигде: могут ещё и заморозки пожаловать, жгучие северные ветры сорваться, а то и снегу понаметёт, поутру же лёд захрустит под ногами – наверняка погибнуть росткам и бутонам. Подождать надо природе немножко, две-три недели, а потом она наверстает, распускаясь, расцветая, подтягиваясь стеблями к небу. Но половички травы с робкими ростками одуванчиков уже поразбросались на газонах, по дворам, под заборами – везде, где была земля открыта и напитывалась солнечными ливнями. Почки пухлы и пахучи. Крохотными, но ярко зажигающимися серьгами тянется по стволам оттаявшая смолка. Птицы хлопочут, чирикают, перепархивая, вроде как забавляются. Мушки суматошатся и звенят. Небо чисто и ясно.

Взявшись за руки, пошли от заводской проходной по улице Карла Маркса – центральной, главной улице города, когда-то называвшейся Большой. Она в редкостной теперь брусчатке, застроена солидными дореволюционными домами с лепниной, флюгерами, парадными подъездами. Афанасий почти торжественно объявил:

– Улица-музей.

Не говорит, куда идут. А Екатерина не спрашивает. Идут себе. Широким шагом идут, хотя спешить, кажется, не надо. И почему широко ступают? – неведомо обоим. Если умели бы летать – летели бы, а не шли бы по земле. Прямо идут, какова и улица. Вместе, рядышком идут. Нет ведомого, как и бывает, если шагами правят чувства. Говорят друг другу что на ум найдёт: как там в Переяславке родичи, приятели, как вообще деревня поживает, готова ли к пахотной? О чём поговорить – не счесть. Перепархивают с одного на другое, как и пчела с цветка на цветок, собирая нектар.

Оба колоритно интересные, задорно юные. На них заглядываются прохожие. Екатерина со своей роскошной длинной косой, с чёрно полыхающими глазами, напружиненно тоненькая, бодрая, – королева улицы. Да в беленькой кокетливой дошке, да в модную полоску чулочках, да каблучками ботишков отстукивает – цок-цок, цок-цок. «Ишь дамочка», – думает о ней Афанасий, ощущая сладость на своих губах. Какой мужчина, тем более молодой, примечательный чем-нибудь, засмотрится на неё, – нахмуривается, глядит на человека в упор, сламывает его взгляд. И на себе примечает чужое внимание. Понимает, богатырь, как не залюбоваться таким молодцем. И одет необычно, хотя, понимает, но не страдает, бедновато. На нём выцветший, изрядно поношенный пехотный офицерский китель без погон, но с форменными пуговицами, поверх накинута чёрная матросская бушлат, – фронтовики, вернувшиеся на родной завод, оделили полюбившегося им парня умельца. На ногах кирзачи, однако надраены щёткой до невозможного состояния. Горят, и может показаться, что они яловые, дорогостоящие. «Аж пускают зайчиков и слепят, – хочется подначить Екатерине. – Весь нараспашку, весь герой. Ну прямо фон-барон!» Однако промолчала, потому что душа тиха и торжественна, потому что – любимый он, единственный её. Она приберегла для него другие слова, те, что одинокими, нескончаемыми ночами шептала, воображая, будто рядом он.

Если бы улице не было конца и края, так, наверное, и шли бы, и шли бы, не обременяясь мыслями, куда и зачем. Они наконец-то вместе, и весь свет белый – на двоих. Солнце на двоих, небо на двоих, город на двоих, лучшая его улица на двоих и жизнь, целая, целая жизнь, позади и впереди которая, и нынешняя тоже, несомненно, на двоих.

Афанасий, случилось, приостановится, укажет кивком на какой-нибудь примечательный дом:

– Гляди-кась, какая красотища.

Если Екатерина не тотчас посмотрит, обворожённая жизнью и своей любовью, так чуть не повелительно скажет:

– Смотри, Катюша, смотри!

Она понимает – люб ему город, рад он поделиться своими сокровенными наблюдениями и открытиями. Дивится девушка: и вправду торопят Иркутск на красоты всяческие; когда же бежала к любимому – ничего-то такого не примечала. Особенно нравится Афанасию указать на деревянные, деревенского пошиба дома, которых полно в примыкающих к главной улицам. Они, бревенчатые крепыши, в узорчатых наличниках, в изысканной резьбе, словно бы приготовлены к празднику, к такому празднику, которому скончания не бывать долго. Скажет Афанасий задумчиво:

– Как у нас в Переяславке, правда, Катя?

– Ага, – охотно отзовется она.

Заглянули в продуктовый магазин. Афанасий пояснил:

– Буду, Катюша, откармливать тебя: больно уж тощая ты.

Люди с талонами толкуются и давятся в нескольких очередях – за крупами, за колбасами, за консервами, за хлебом, ещё за чем-то. Полки и витрины – серые, полупустые, однообразные, как солдатские шеренги. Екатерина видит: унылы люди, уныло убранство торговых залов. Только красный плакат с кремлёвскими звёздами, с кумачами и размашистой надписью «10-го февраля 1946 года выборы в Верховный Совет СССР!» вроде как радостен. Правда, обильно засижен мухами, выцвел, покособился: второй год висит, заброшенный.

Екатерина потянула Афанасия на улицу:

– Пойдём отсюда, – шепнула.

Но он, озорно подмигивая, взмахом головы указал ей на расположенный в отдельном зальчике кооперативный отдел. Там витрины и полки яркие, цветасты, обильны, и чего только нет, – всё есть! А народу – ни полдуши, кроме продавщицы в высоком, как боярская шапка, накрахмаленном и с блестками колпаке. Она, дородная, видная, одиноко-величаво, точно памятник самой себе, стоит за прилавком, искоса и строго поглядывает издали на мельтешащий люд. Над ней иконой сияет изумительной прорисовки и красочности новенький глянцевый плакат со Сталиным и пухленькими смеющимися детьми «Спасибо родному Сталину за счастливое детство!». Афанасий за руку затянул Екатерину в закуток этого неземного изобилия. Взглянула она на плакат с детьми – внезапно что-то такое колющее шевельнулось у неё в глубинах груди. Но машинально опустила глаза на ценники, и первое чувство тотчас перебилося новым, даже охнула: за всё – червонцами, ничего нет, чтобы копейками стоило. Булка хлеба четырнадцать рублей сорок копеек?! И снова потянула Афанасия вон из магазина, но он крепко встал у прилавка. Набывчившись, тыкал:

– Дай-кась, красавица, вон то. То. То...

Вскоре образовалась приличная горка из невиданных диковинок – шоколада, конфет, сгущёнки, тушёнки, копчёных колбас, чая индийского.

Кто-то из хвоста ближайшей очереди прошипел:

– Ишь, блатота вшивая отоваривается.

Афанасий расслышал, ответил:

– Не бурчи, честной народ: скоро талоны отменят, цены урежут – всего будет навалом. Верно говорю вам! Эх, развесёлая жизнь наступит! – И, словно бы для наглядности, отбил по мраморному полу каблуками с набойками чечёточку.

Сказал хотя и с хохотцой, но ёмко, прямя свой ещё юношеский говорок на басовитость. Люди стихли, насторожились, с недоверием поглядывали на парня в матросском бушлате и в кирзачах. А он уже снова распоряжается:

– Вон то ещё подайка-ка, хозяйка медной горы.

Екатерина дёргает Афанасия за бушлат:

– Да полноте! Ты что, сдурел?

А сама думает: «Какой он у меня! Ай, ка-а-ако-о-ой!»

Но не унимается Афанасий, велит:

– Ещё во-о-он ту штуковину подай-кась, добрая волшебница.

– А деньги у тебя имеются, моряк с печки бряк? – упёрлась в Афанасия тугим взглядом продавщица.

В горсти вынул из штанов мятые червонцы, вытрусил их на прилавок:

– Сколько тебе? Отсчитывай!

«Ой, сумасшедший, ой, хвастунишка, ой, щёголь городской! – бессильно восклицала Екатерина, а у самой сердце только что не отплясывало под дошкой. – Ай, ка-а-ако-о-ой! Передо мной выставляется: мол, глянь, каков я! Ой, сумасшедший!»

Продавщица вмиг переменилась: посмотрела на отчаянно тороватого покупателя почти-тельно, сказала, с приятностью растягивая от природы горделиво неподатливые губы:

– Балычок свежайший. Сёдни утречком завезли. Рекомендую.

– Что ж, давай и балычок.

Она несказанно довольна, что покупатель много берёт. Завмаг, случается, рычит: «Не выполнишь план в этом месяце – пойдёшь в уборщицы». А за весь день обычно пять-шесть покупателей, потому как народ за войну страшно обнищал. Да возьмут по мелочи, на зубок едва хватит.

– Чёрной икорки не прикупишь, морячок? – раззадорила продавщица. Говорок уже елейный. – Она один из дешёвых у меня товаров. Но – вкуснятина, пальчики оближешь!

– Ты что, любезнейшая, хочешь, чтобы я почернел и сдох? – отшучивается Афанасий, небрежно набивая свою деревенскую дерюжную авоську продуктами. Смиловитился: взял и икры.

А напоследок ещё и мороженого купил – диковинку из диковинок послевоенной поры в Сибири. Серебристую пачку на палочке протянул, как цветок, Екатерине. Она взяла, а что делать с ней – не знает: впервые вживе видит. Афанасий притворился знатоком: показал, с немалой бережностью, как развернуть и откусить. Выйдя на улицу, стали есть попеременно, по-братски делясь, точно дети.

Возле монумента первопроходцам, постамента памятника Александру Третьему, а теперь без него – «какой жалкий и кургузый», подумала Екатерина, – вышли к Ангаре. Ласково пахнуло зеленцеватой синью и сверканием льда. Но не сегодня завтра стронется великая вода и устремится к Енисею, а потом, слившись с ним, – к великому океану и конечно же к новой жизни. Стоят перед Ангарой – родной своей рекой; с детства они с ней и она с ними. Выходит, втроём они сейчас, родные. Да ещё небо с ними, просторное, ясное, прогревающее.

– Подчас после смены прибрежу сюда, гляжу на реку и думаю: как там наша Переяславка? По течению, чисто дурачок, вглядываюсь вдаль, аж щурюсь: не увижу ли родных берегов?

– И я в Переяславке подолгу смотрю на Ангару. В иркутскую сторону.

– Меня хочешь разглядеть?

– Угу.

На противоположном берегу на станции голосисто затрубил и густо пыхнул дымом паровоз, устремляясь с вереницей вагонов к Байкалу, на Кругобайкалку. Зачем-то смотрели вслед, пока не истаял состав вдалеке. Афанасий откуда-то из своего высока шепнул в темечко Екатерины:

– Зацелую допына, изомну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет.

– Есенин? – шепнула и она.

– И он, и сердце моё.

– Любишь?

– А то!

– Скучал?

– Маялся, как медведь в клетке.

– Ишь ты! Чего же не бросил всё, не примчался в Переяславку?

– Говорил уже: учусь, прирабатываю, к тому же общественник, – понимать должна. – Помолчав, нерешительно примолвил: – Письма-то мои, слышь, Катюша, не на почте ли в Переяславке кто перехватывал? Скажи, – я им устрою расчихвостку.

Екатерина отозвалась по-особенному твёрдо:

– Не выдумывай.

Снова пошли. И стронулись одновременно, не сговариваясь. Не сговаривались и о направлении и о цели. Как будто одной душой и одной головой жили. И Екатерина снова не спрашивает, куда. А Афанасий не объясняет, однако идёт уверенно, широким шагом, минутами не соразмеряясь со своей хотя и скорой, но путающейся в подоле спутницей. Петляли какими-то заулками, двориками, порой протискивались через застрёхи в заборах, по всей видимости, значительно скорачивая путь. Свободной рукой, когда нужно было – в сущности, лёгкое – джентльменское содействие, Афанасий не без дерзновенности нащупывал под дошкой рёбрышки любимой, притискивал её к себе. Ей было щекотно, её, как девочку, тянуло засмеяться, но засмеяться или отстраниться она не позволила себе, потому что любила, потому что наконец-то с ним, с единственным, потому что верила в долгую-долгую и счастливую жизнь вместе.

Глава 10

Пришли к студенческому общежитию – мрачной, прокоптевшего кирпича трёхэтажке, обветшалой постройке прошлого века. Екатерина неожиданно остановилась перед входом: ей не хотелось входить внутрь, ей хотелось остаться под этим тёплым голубым безбрежным небом, которое сегодня на двоих, – а что может ждать их обоих в общежитии? Известно: там нет неба и там, несомненно, людская теснота. Она подняла глаза к небу.

– Пойдём, пойдём, – нетерпеливо потянул её Афанасий, жадно заглянув в чёрно, но светло вспыхнувшие глаза. – Чего ты испугалась?

– Что ж, пойдём, – шепнула она. Неохотно отклонила взгляд от неба.

Внутри у громоздкой двери в тусклости, под громадным бюстом Сталина и кумачовым стендом «Ты, Сталин, солнце наших дней! Ты всех дороже и родней! Тебе несём тепло сердец, мудрейший наш отец» – вахтёр. Хотя и сухонькая старушонка, но глазки зловатые, липучие, «как у Бабы-Яги», – мгновенно оценила Екатерина.

– Документ! – шепеляво, но властно потребовала она у Екатерины. Бесцеремонно прибавила: – Чёй-то не припомню тебя, деваха.

Екатерина схмурилась на «деваху» и едва сдержалась, чтобы не осечь старуху. По сумеречным коридорам просквозило девичьим смехом, за ним как бы протопал басовитый говорок парней. Где-то здорово хлопнули дверью, где-то загремели тазом. Екатерина потянула Афанасия за рукав бушлата – к выходу. Но он притворился, что не понял. Вынул из авоськи банку с чёрной икрой:

– На тебе, бабка Агафья, документ! Да гляди, помногу не уписывай: почернеешь, чего доброго.

Утянул Екатерину в полумрак холодного, отдающего плесенью и квашеной капустой коридора.

В комнате, куда он её завёл, – четыре железные кровати, грубой работы стол, табуретки, шкаф и – толчея шумного молодого люда, и парней, и девушек. Кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то просто заглянет и скроется. Смеются, поют, бренчат на гитаре. Екатерина смущена, растеряна; она впервые в большой компании, не знает, как себя вести. С досадою понимает – комната Афанасия гостеприимная и весёлая *всегда*. И – девушки здесь бывают, похоже, *не выводятся*. На красивую, с богатой косой, в трикотажных модных чулочках, в ботиках на высоком каблуке, в тонкорунном гарусном платочке незнакомку смотрят, вглядываются, двусмысленно подмигивают Афанасию. А какая-то, почувствовала Екатерина, *нескромно* высокая и *нескромно* яркая рыжей, с накрашенными губами девушка улыбается ей в лицо, и улыбается с *выпячивающей* приятностью, которая – почти враждебность, почти коварство. Не хочет ли девушка сказать: «А, прикатила, деревенщина? Разоделась, как Ключня Ивановна, а сейчас-то в моде вот что! Посмотри-ка, с какими складочками моя юбка – просто плиссе аля франсе. А как тебе мой ленинградский жакет с переходной спинкой? А мои польские туфельки с розовым бантиком? Наматывай на ус, колхозница! Приехала к своему суженому-ряженому? Что ж, смотри, как мы тут вовсю веселимся с ним!»? И Екатерина с оторопью понимает – девушка может быть влюблена в Афанасия: она *под него* высока, она *под него* раскованна, хороша несомненно и, кажется, не глупа к тому же.

И ещё крутятся и смеются среди парней *всякие*. А некоторые что-то там такое говорят Афанасию. А то и нашёптывают на ухо, очевидно кокетничают с ним.

Екатерина немеет душой. В груди – комок раскалённого льда. Осознала: там, на входе, она, как зверь, почуяла в этом людском неприглядном муравейнике угрозу – угрозу своей любви, своему счастью. И потому хотела остаться с Афанасием под небом, просто под небом, под чистым просторным небом, вдвоём, только вдвоём, а все люди вокруг – они всего-то про-

хожие, они пусть сами по себе. Как она ждала этой встречи! А теперь какие-то люди встряли между ней и Афанасием и будут мучить её, утягивая за собой Афанасия. А он, посмотрите на него, важничает, красуется!

– Что, оглоеды, уже сбежались? – риторически осведомился смеющийся глазами Афанасий. И, довольный и недовольный, что столько народу набилось в его комнату, отмахнул рукой: – Ладно уж, будем гулять! Знакомьтесь: Катя. Присаживайся к столу, будь как дома. Тут всё мои друзья-товарищи, однокашнечки. Чтоб им пусто было.

Молодёжь смеётся. Ни капельки обиды.

Афанасий небрежно вытряхнул содержимое авоськи на стол:

– Угощаю.

– У-у!

– Зна-а-атно!

– Люблю повеселиться, особенно пожрать!..

Кто-то вынул из-под кровати бутылку самогонки, ладонью шибанул по донышку – самодельная пробка вон. Зазвенели выставленные на стол гранёные стаканы, в них весело забулькало. Выпили, закусили. Афанасий – царь стола: угощает, наливает, тостами сыплет, подтрунивает над кем заблагорассудится ему. Но Екатерине видно: его любят, уважают, принимают за старшего. Гордится, но и злится она. Злится, что окончания застолью не видно: ещё появились бутылки, ещё народу привалило, пуще смех, пуще гвалт. Табачного дыма – точно бы в туман угодили. И – люди, люди, всюду люди. А Екатерине хочется смотреть в глаза любимого, хочется слышать слова любви. Ей хочется всего Афанасия, она не хочет разделять его с кем бы то ни было. И хотя она улыбается, потому что улыбаются все, но понимает – её улыбка скорее всего неприятна или даже гадка: губы отвердели, непослушливы.

Принесли патефон – с заезженной пластинки мелодично и вкрадчиво захрипел обожаемый всеми Утёсов. Танцевали парами, вприжимочку. Афанасий не любил и не умел танцевать, Екатерину не пригласил, но она ничуть не обиделась, а была даже рада, потому что сидела рядом с ним, и он под скатёркой держал её за руку, похоже, боялся, что она убежит. Они оказались за столом в одиночестве вдвоём. Какой-то залётный паренёк, только что заглянувший на огонёк, расшаркался перед Екатериной и протянул ей руку, – Афанасий крикнул в кулак. Бедный ухажёр немедля исчез.

– А я, может быть, хочу танцевать, – едва сдерживая смех, шепнула Екатерина с ласковой укоризной.

– А я, может быть, хочу тебя съесть, – с театральной свирепостью взглянул на неё Афанасий.

Она примечает: на неё с Афанасием украдкой смотрят, и смотрят по-особенному: и любованье, и зависть взблёскивают в глазах. Она подумала, немножко ослабляясь душой, что они сидят сейчас как жених и невеста, а все собравшиеся – гости на их нечаянной свадьбе.

Снова выпили, закусили, поставили Русланову – принялись плясать, да так, что игла подпрыгивала. Теперь Екатерина уже рада, что все веселы и не спешат расходиться. Она и Афанасий чинно сидят плечом к плечу, глазами – на пляшущих, но видят ли их? Наверное, видят, но сердцем – только друг друга. Афанасий под скатёркой истоиво, наступательно тискает – секундами до боли – руку Екатерины. Шепнул:

– Всё, Катенька, хорош: разгоняю компашку.

– Пусть веселятся. Тебе жалко, что ли?

– Жалко! И тебя и себя жалко: маемся. Разве не прав?

– Только о себе и думаешь. Несчастный эгоист.

– Да, эгоист. Но ты приехала ко мне, а не к ним. Выходит, праздник у меня, а не у них.

Она поправляет его, загадочно улыбнувшись:

– У нас праздник.

– Правильно, правильно! А потому к чертям незваных гостей!

Подозвал одного, второго дружка, что-то шепнул им на ухо. Те, пританцовывая, с шуточками-прибауточками утянули заартачившихся барышень из комнаты. Упирившаяся обеими руками и ногами рыженькая в дверях подморгнула Екатерине и – показала язык. Екатерина едва не крикнула вслед – «дура».

Глава 11

Наконец – одни, за столом с обедками и пустыми бутылками. Доигравшая пластинка – скрип, скрип. Смолкла и она. Тишина, только за дверью утробный коридорный гул. Молчат, оба вроде как растерялись, что вдруг оказались наедине. Столько жили в разлуке, любили друг друга издалёка, а сейчас сердце сердце задело – может быть, и не больно сделалось, но оба почувствовали себя неприятно.

За окном в фиолетовых глубинах позднего вечера зябнут редкие огоньки города. Екатерина затревожилась: огоньки – как какое-то неизъяснимое обещание и чаяние – могут сгинуть, проглоченные этой бездушной вселенской теменью. Невольно поёжилась, плотнее запахнулась платком.

Афанасий, долго принаравливая свою медвежью, грабастую руку, несмело и неловко – защемил и наддёрнул локон – приобнял Екатерину, казалось, намеревался согреть её. Но она строго спросила, слегка отстранившись плечом:

– Ты влюблён в *эту... длинноногую*? – мотнула она головой в сторону, где недавно сидела высокая рыжая девушка.

– Да ты чего? – с перекосом губ засмеялся обезоруженный Афанасий.

– Смотришь же на неё. Признайся: смотришь?

– Я и на стены смотрю. – Стремительно, но крепко и властно поцеловал её в сжатые, вредные губы. – А вижу единственно тебя. Катя, Катенька, Катюша!

Подхватил на руки, да не рассчитал силушку – пёрышком подлетела. Поймал, всю прижал, будто скомкал, к груди. Виском и ухом, чуть присев, шоркнул по выключателю. Во тьме безрассудным броском шагнул, точно бы в пропасть, к кровати.

– Зайдут? – придушенная, вымолвила.

– Не зайдут.

– Сумасшедший.

– Ты и свела с ума.

Забыли свет и тьму, небо и землю, жизнь и смерть. Ничего нет, ни прошлого, ни настоящего, ничего и не надо, и о будущем надо ли помнить и переживать. Она и он – больше нет ничего и больше ничего не надо ждать. Оба – в огне, в полыме, в неведомых пространствах то ли ада, то ли рая. Уже не выбраться, не спастись. Что ж, пропадать, так вместе, едиными душой и телом.

Затихли, опалённые, вымотанные.

Мир житейской жизни мало-помалу возвращается в сознание, и первое, что слышат и чувствуют, – кипящее сердце друг друга.

Первое слово – Екатериныно. Оно тихонькое, зыбкое, с хрипотцой, оно точно бы проверка, что способна говорить, обыденно жить, чувствовать. Ещё слово, ещё. Голос укрепляется. Слова сливаются, как ручейки, в речку слов. О чём говорит? О том, о чём уже никак нельзя не сказать любимому. А может, не надо было говорить? Поздно, девонька! Слово – не воробей. А всё ли сообщила? Кажется, всё. Лишь про свою и его мать промолчала: что сказали и чего пожелали матери – то свято, то неподсудно. Нельзя впутывать ни ту, ни другую. Самим надо разобраться – не маленькие!

– Не будет, говоришь, детей? – пересохшим до шершавости ртом переспросил Афанасий, во всё время рассказа Екатерины как бы всматриваясь в те два чудовищных слова, когда-то вбитых, будто бы гвозди, в его душу, может быть, во всю его суть: «Хотел. Убила. Хотел. Убила...»

Екатерина покачнула головой. Казалось, роняла её.

Помолчали. За окном – непроглядье, ни огонька, ни крошки жизни. И звуки мира затаились.

Сказал, срывая в горле сипоту:

– Ну и ладно!

Помолчав и крупно сглотнув, ещё веселее и непринуждённее прибавил, но уже чистым, своим – наступательным ветровским – голосом:

– После сессии на денёк-другой нагряну в Переяславку. Жди со сватами.

– Ой ли?! – аж вскрикнула.

– Жди. Сказал, жди, значит, жди. Ты меня знаешь.

Вот и ясность. Вот и зазвучала в сердце самая нежная струнка. Вот и сладилось, может быть, как и надо. Слава богу. Чуть было не произнесла вслух «слава богу». Возможно, заругался бы, взъершился бы Афанасий, непримиримый атеист, богохульник.

Перебивая друг друга, долго, запоем говорили. Вспоминали детство, Переяславку, рассказывали, как жили в разлуке. И мечтали, мечтали. Но не наговориться, не наслушаться голоса любимого, не насмотреться досыта в глаза. Не заметили, как уснули, сморенные безмерным счастьем любви и дружбы. Но вздремнуть осталось всего часок-два. Рано поутру одному – в дорогу дальнюю домой, другому – на учёбу в институт на другой край города. Снова разлука, снова ожидания и тревоги. Хорошо, что всего-то до лета. А потом? А потом только счастье. Только счастье.

Засыпая, Екатерина успела увидеть – за окном зарябило, замутилось: это стронулся в сумерках рассвет нового дня. И, блаженная, полегчавшая, полетела к неведомой, но приманчивой жизни на своих цветастых и широких, как платы, девичьих снах.

Очнулась первой, испуганно посмотрела в уже индигово набухшие потёмки. Оказывается, сорвался ветер, по окнам хлётко саданул дождь. Афанасий не слышал – не проснулся, не шелохнулся даже, спал здоровым богатырским сном. «Умаялся за день, бедненький. Помашика молотом», – опершись о локоть, вглядывалась в любимое лицо Екатерина.

Уснуть уже не смогла. Переживала: сегодня во вторую смену на ферму, и надо успеть добраться до Переяславки, чтобы никто не прознал, где была. Послушав дождь, первый дождь этой весны, тихонько оделась, склонилась над Афанасием и – неожиданно для себя перекрестила его, но быстренько, воровато, даже привычно потянуло оглядеться: не видел ли кто. Будить не стала. Дверь за собой закрывала медленно, напоследок всматриваясь в Афанасия. Улыбнулась ему.

«Глупая».

Общежитие ещё спало; за дверями – храп, сонное бормотание. На цыпочках прошла возле злой бабки вахтёра. Та, склонившись маленькой усохшей головкой на столешницу, сладко дремала под чёрным бюстом навечно бдительного Сталина. Затаивая дыхание, сбросила с ушка на двери туго поддающийся крюк, выскользнула на улицу. И только сейчас, охмелённая счастьем и трезвея под ветром и дождём, подумала: а как же будет добираться домой?

Глава 12

Добралась. Сначала рейсовым автобусом до Московского тракта. С полчаса пришлось голосовать под пронизывающим ветром и морозящем дождём. Машин было наперечёт и все неслись гружёные, к тому же с пассажирами в кабинах. Наконец, один дядька с двумя втиснувшимися в кабину мужчиной и женщиной сжалился – позволил Екатерине забраться в уголок заваленного домашним скарбом кузова своей полуторки, забросил ей армейскую плащ-палатку. Закуталась в брезент с головой, согрелась быстро, разомлела и вскоре, счастливая, задремала. Видела сны, и они были прекрасны.

Подфартило ей невероятно: довезли, следуя на Половину, до самого сворота на Переяславку. Шофёр с подножки растолкал. Неохотно высунулась из своего гнёздышка – бело, до жгучей кипени бело. Можно было подумать, молочными реками и озёрами залито и без того славное переяславское местечко. Прижмурилась и не сразу сообразила – снег. Видно, недавно прекратился здесь мокрый обвальный снегопад, – ни одного следа к селу, ни одной стёжки в улицах. Навалило изрядно, как обычно бывает в ноябре перед зимой. Иркутск можно считать южным городом, здесь же почти северные земли, лесостепные, – климат, что говорить, посуровее, привередливее, и в мае и даже в июне случаются снегопады, заморозки. Однако почва уже тёплая, прогрета довольно глубоко, в прозеленях, а потому не сегодня завтра снегу сойти, обернувшись ручьями и лужами.

Спрыгнула с борта – утонула в сугробе выше щиколотки. Помахала вслед удаляющейся машине.

– Прибыла блудная дева! – вздохнула полной грудью, потягиваясь и усмехаясь на неожиданно пришедшие слова о деде.

Повернулась лицом – помнила, как однажды так же поступили мать и отец, вернувшись издалёка – к селу и реке, принаклонилась:

– Здравствуй, Переяславка, здравствуй, Ангара!

Но ни реки, она ещё во льду, ни села не отличишь от полей и лугов: округа – монолитные белые волны, лихо взлётывающие по правому, мелкосопочному, берегу. Всюду чисто, белоснежно, ясно. Земля и небо прибраны точно к празднику. И сны сегодня прекрасны, и явь изумительна – надо же! Одно только плохо – тяжело идти к дому: ноги вязнут и в снегу, и в спрятавшейся под ним грязи. Чуть горочка или ложбинка – заскользит ботинками, забалансирует руками. «Не растянуться бы, как корове на льду. Уехала чистенькой, вернулась чумазой – хорошенькое дело».

Дома, порадовалась, никого не было: мать на работе, сестрёнка ещё из школы не пришла, видимо, как обычно, заигралась после уроков с подружками. Переоделась стремительно и – бегом на ферму: надо успеть к началу вечерней дойки. Успела, слава богу. Доярки уже шебаршились в стойлах, гремя подойниками, уластивая коров. Со всеми поздоровалась, но притворилась мрачной, чтобы не заподозрили чего-нибудь, потому что счастье, как водится, нужно оберегать от завидующего глаза. Верила, с малолетства слыша от взрослых: сглазят окаянные бабы!

До поездки к Афанасию ферма тяготила, сюда порой не хотелось идти, потому что здесь вечно потёмочно, сыро, смрадно, всюду натыкаешься на свежие навозные кучи, сопрелую сенную труху. Народ тут работает матерный, грубоватый, а от мужиков и некоторых доярок разит табаком и хмельным. А сейчас показалось, что светло внутри, хотя ни одного светильника нет, что люди сплошь добры и приветливы. А запахи какие – не то что в городе! Здесь запахи лета, сенокоса, лугов, парного молока, – хорошие, естественные запахи здоровой деревенской жизни. Тепло, уютно. Работалось споро. Молоко весело прыскало в ведро.

Около полуночи вернулась домой. Маша и Любовь Фёдоровна, дожидаясь, сидели при керосиновой лампе за рукодельем. Скороговоркой поздоровалась и прошмыгнула в свою комнату, чтобы и матери не открыться, чтобы та не поняла, где её дочь была, что привезла в своём сердце.

– Вся, Кать, светишься гнилушкой на болоте, – сказала мать. Помолчав, спросила с неестественной строгостью: – Уж не у *него* ли была?

Екатерина промолчала: ни соврать, ни правды не могла сказать.

Но мать знала свою дочь.

– Ай, бедовая ж ты головушка, Катюха моя горяча.

Сестрёнка, хихикнув, проголосила:

– Жених и невеста, поехали по тесту.

Мать лёгкой затрепачкой остановила:

– Спать живо, певунья! Опять сегодня двойку отхватила. Учителя жалуются: егозишь, коза, на уроках, только что не безобразничаешь, как пацан. Каким-то сорванцом растёшь, а не девочкой. Смотри мне, Машка, отцовский ремень вон висит на гвозде. А ты, Кать, позанималась бы с сестрой математикой и русским.

– Хорошо, – отозвалась Екатерина.

Мать зашла к старшей дочери, приобняла её, погладила по распущенным волосам:

– Я ж сразу догадалась, дурёха, куда ты тогда намылилась. Хотела было остановить, да вижу – бесинка в глазах твоих беспроглядных. Так и скачет там, так и мечется, окаянная. Ладно, думаю, пускай доча попробует судьбину. Как хоть съездила-то?

– В жёны хочет взять, – слабо и отрешённо, будто где-то не здесь была, улыбнулась Екатерина. – Сватов, говорит, жди в конце июня после сессии.

– Ой! Что будет, что будет!

– А что будет? – бледно спросила Екатерина, сердцем всё пребывая далеко отсюда.

– Матка-то его, Лукинична, поперёк не стала бы. Ух, несговорчивая да ершистая она баба. – Примолвила тихонечко: – Отговори его.

Екатерина едва заметно помотнула головой:

– Будь что будет, мама. – Устремила взгляд поверх занавески чёрного окна, в самое непроглядье сырой и холодной ночи.

– Ой, Катюха горяча, ой, отчаянная головушка.

Теперь уже Екатерина гладила мать, её натруженные, шероховатые, но такие родные ладони. Что сказать маме? Какими словами выразить сердце?

Глава 13

В конце мая Полина Лукинична получила от сына письмо. «Батюшки, стряслось чего, ли чё ли!» – всколыхнулось в груди, когда у калитки приняла из рук почтальона конверт. Ни разу за время отлучки Афанасий не писал, потому как не принято у деревенских по пустякам писать, как говорится, изводить бумагу, баловаться всякими писульками. Письма – удел городских да интеллигенции: у них, верно, времени побольше, чем у крестьянина. Денег, правда, два раза отправил, но не почтой, а с подвернувшимися нарочными – студентами земляками, они приезжали в Переяславку на побывку. Молодец, радовалась мать, у кого ещё такой сын? Ни у кого нету, единственный он такой. И учится, и работает, и себя обеспечивает, и недужных своих родителей с младшим братишкой не забывает. В свою очередь и мать, с оказией на колхозной машине, отправляла ему пару кулей с картошкой, туес квашеной капусты, связку вяленой дичи, ещё по малости напихала в корзину разного съестного, взрощенного на огороде или добытого в тайге или реке. Последнее и, кажется, единственное за всю жизнь письмо, полученное Ветровыми, – похоронка с фронта на старшего сына, незабвенного Коляшку, первенца, с потерей которого мать не может смириться по сей день. И вот теперь второе письмо. Что в нём скрыто? «Господи, не приведи», – твердеющими губами шепчет мать.

Не заходя в избу, а даже зачем-то задвинувшись в тень за поленницу, нетерпеливо вскрыла конверт. Слепокуро вчитывалась в крепкого нажима сыновние строчки.

«Здравствуйте, мои родные, матушка, батя и брательник Кузьма, – читала она, малограмотная, по слогам, опасливым шепотком. – В первых строках своего письма сообщаю, что жив, здоров, чего и вам, мои дорогие, искренно желаю...»

«Слава Те, Господи», – вскинула глаза к небу.

«Я живу хорошо – учусь, тружусь, даже некогда, как другим, вырваться в Переяславку...»

«Ну и ладненько. Ну и учись, сыночек. Уж мы как-нибудь потерпим, дожидаячи тебя, родненького».

«А пишу я вам вот по какой причине: в конце июня после сессии на недельку загляну в Переяславку, потом укачу по комсомольской путёвке на северную стройку, на которой пробуду до середины сентября, после, сами понимаете, снова учёба, завод. А до моего отбытия на севера со сватами сходим к Пасковым. Екатерину я беру в жёны. Теми же днями сыграем свадьбу. Деньги имеются. Дело решённое, хотя, как доброму вашему сыну, сначала мне следует просить у вас, так сказать, благословения. Но теперь, сами понимаете, не царские времена, всякие там разные замшелые церемонии ни к чему. Я знаю, что делаю. Если можете, поймите и простите. До свидания. Ваш сын и брат Афанасий».

Дочитывала Полина Лукинична, а сердце уже скололось, дыхание сбивалось – то затихнет, то сдёрнется, будто завязало. Она, нравственно придавленная, сокрушённая, по-старушечьи сторбленно опустила на чурку и замерла, казалось, ожидая смерти или большей напасти. «Чаяла, забудет её, завертится в городской сутолоке. А оно вона куды заворотило, а оно вона куды понесло. Ай-ай-ай! Сгубит, несмышлёныш, всюё свою жизнь. Когда хватится – поздно уж будет. Нам с Ильёй ни внуков не видать, ни спокойной старости. Один сын на фронте погиб, другому несчастная доля может выпасть, Кузьма не натворил бы чего», – смолой потянулись нелёгкие, застрашивающие мысли.

Илья Иванович, рослый, крупноголовый, моложавый, низко склонясь в дверном проёме, вышел из избы во двор. Пообедал и теперь направился в колхозную конюховку, где извечно служил старшим конюхом. Единственной, правой, рукой, ловко орудуя внешне негибко-грубыми, натруженными пальцами, свернул козью ножку, прикурил, чиркнув спичку о голенище кирзача, блаженно затянулся. Пошагал было, да заметил жену:

– Поля, ты чего за поленницу забралась? Вся с лица спала, что ли.

Полина Лукинична поспешной украдкой скомкала злополучное письмо, запихнула его между поленьев – мужу показывать не надо. Никому не надо показывать! Но что делать, что же делать, что же, люди добрые, делать? Как оберечь неоперившегося и неискушённого своего сына от шага неразумного, рокового?

– В поясище, Илюша, стрельнуло. Вот, перевожу дух. Настудилась в нонешнюю непогодищу, ли чё ли.

Поднялась. С излишним усердием припадая то на одну, то на другую ногу, направилась в избу.

– Почтальонша-то чего подходила?

– Почтальонша? – снова обмерла Полина Лукинична. – Какая такая почтальонша? А-а-а, Зойка-то! Да та-а-ак. Мимо шла. Покалякала с ней о том о сём.

Илья Иванович хитроватым весёлым прищурцем посмотрел на жену, в седой, но ещё браво подкрученный ус усмехнулся чему-то, вышел за калитку, неторопко направился к конюховке на другой край села. «Чёй-то заподозрил, никак», – полвзглядом уловила Полина Лукинична усмешку мужа.

Облокотилась на изгородь, глядела ему вслед – до чего же Афанасий похож на отца! Та же редкостная богатырская стать, та же крепкая развалка поступь, та же не без горделивости поставленная большая умная голова – чисто список с отца. А норовом, а разумением, а хозяйственной хваткой просто до тютельки схожи.

За долгую и непростую жизнь Илья Иванович несколько пообтесался, поутих, посговорчивее стал, а по молодости упрям, нравен, ершист бывал. Если чего-нибудь надумал да пожелал – будет так, и никак иначе. Горестно вспомнилось Полине Лукиничне, как в Гражданскую дерзкой своевошкой ушёл из родительского дома её будущий супруг в партизанский отряд сосланного политического преступника – грузина Нестора Каландаришвили. А там чуть было жизни не лишился, изувечился – руку потерял, спасибо, что не голову.

Переяславка, как и многие приангарские веси и займки тех жутких, переломных лет, хотела жить наособицу, как говорили, *старинициной*. Не пожелала знаться деревня ни с белыми, ни с красными, ни с генералом Каппелем или адмиралом Колчаком, ни с «бандюгой» Каландаришвили или пока что малопонятными Советами.

– Никому не верим! – упрямяствовал до самого выдворения белочехов и падения армий Колчака осторожный, в большинстве своём зажиточный сибирский крестьянин, таёжник промысловик.

А молоденький Илья Ветров – как немало и другого люда, преимущественно рабочего, городского, – своевольно, наперекор родительской воле ещё до революции устроился на железную дорогу и сошёлся там с социалистами. Напоился иным духом – духом противления и нетерпения: нынешнюю – царскую, «кровавую» – власть невзлюбил, от церкви отшатнулся. Когда вместе с идейными товарищами уходил в тайгу, чтобы влиться в партизанский отряд, отец, Иван Кузьмич, размахивая кулаком, отчаянно прокричал ему вдогон:

– Проклинаю тебя, иудово племя!

Сын не обернулся, не уstraшилcя.

Однако судьбу его развернуло и перетрясло так, что едва живым остался. Через несколько недель Илью, охваченного жаром, перебинтованного и, похоже, умирающего, приволокли, измаявшись с этой неимоверно тяжёлой ношей, в дом отца на носилках: осколками шального каппелевского снаряда парню отхватило левую руку по плечо, к тому же посеколо рёбра, но внутренних органов и лица, на диво, не затронуло. Отец хотя и попыжился, поугрюмился, даже раскричался на незваных гостей, «слуг Антихриста», однако супротивного сына всё же не отверг. Семья выходила его.

Вскоре советская власть одолела и внешних и внутренних своих врагов, утвердилась на немеряных сибирских привольях. Начиналась какая-то новая, необыкновенная, манящая жизнь. Илье Ветрову хотелось влиться в неё, вершить большие дела, однако без руки человек, понял он, – как птица без крыла: душа хотела полёта, но взлететь по жизни как следует он не мог, только что и оставалось хлопать попусту о землю в безнадежной попытке взмыть к выси. Он долго и мучительно не смирялся со своей однорукой участью, угрюмился, чуждался односельчан. Инвалид он и есть инвалид, калека – ещё беспощаднее подворачивалось слово – он и есть калека, – открывал молоденький, самолюбивый Илья для себя суровую, беспощадную правду человеческого общежития. Дюжему, неужёму, любившему жизнь, жить и работать, однако, приходилось в полсилы, вечно быть у кого-нибудь на подхвате, ходить вроде как в немощных, если не сказать, сирых. С людьми ему, гордому, умному, порывистому, бывало порой невыносимо неуютно, тяжело; злился, и нередко несправедливо, по пустяку.

Но замечал с возрастом и опытом: годы, оказывается, могут лечить – душу лечить. С появлением колхоза, потихоньку пристал к лошадям – животное не обидит, не посмотрит снисходительно, с жалостью. Наловчился запрягать одной рукой. Даже подковывал, озадачивая и дивя людей. Задать овса или подбросить соломы и сена – и вовсе просто было. Поднаторел и в починке упряжи. Веселее становился, общительнее. Выбился в начальники. Но главное, жена ему хорошая досталась, Поля Ванина, крепкая – под него – статью, природно строгая с людьми, но ласковая и учтивая с супругом. Она тянула дом, немаленькое хозяйство со скотиной. Порядок во всём был. Родила ему троих сыновей. «Ай, молодчинка, Поля-то Ветрова!» – говаривали селяне. Даже сама раскалывала чурки, хотя Илья и тут набил, как говорится, руку. В этих своих каждодневных трудах Поля и сорвала спину, надсадилась, и теперь мучилась, порой не имея возможности и ведро с водой поднять. Лечилась, однако не помогало как надо бы. Хорошо, сыновья подросли, рано сделались помощниками. Илья поругивал жену, если она ухищрялась опередить его в какой-нибудь тяжёлой мужичьей работе. Поля стала действовать тайком, украдкой, пока он в отлучке на конюшне или ещё где-нибудь. Он замечал и понимал: жалеет. Но если заподозрил бы, что жалеет, как другие люди, то есть как калеку, немощного, мог бы, вспыхнув, и нагрубить. И в первые годы их супружества так и случилось несколько раз. Но скоро понял – её жалость, если таковая вообще была, тонула в её беспредельной любви к нему.

Однажды сказал жене:

– Ты, Поленька, моё второе крыло.

Она, стыдливая к похвалам и сыздетства скуповатая на открытое проявление своих чувств, притворилась, что не поняла:

– Куриное, ли чё ли?

А у самой, поспешно отвернувшейся лицом, колко вздрогнуло в глазах, будто внезапным ветром набросило снежинки.

Глава 14

«Ах, Афанасий, ах, Афанасий! – мысленно обращалась Полина Лукинична к сыну, вспоминая у калитки скорби и отрады былого. – Так же, как твой отец когда-то, натворишь делов, а потом попробуй-ка полететь с переломанными крыльями. Пошто тебе, родненький, пустопожнее счастье? Найди другую девушку, здоровую да родящую, ведь любая бросится к тебе. Катюшка, чего уж мне наговаривать напраслину, конечно же красавица, умница, но дитя, даже самого замухрышнёного, от неё, сынок, не дождёшься. Что сделаешь, коли так судьбинушка распорядилась. Смирись! Богу одному ведомо, почему содеялось, что содеялось. Он ведёт нас по жизни, наказывает и жалеет, отнимает и дарует. Скажу напрямки: оба вы повинные, оба наворотили уже сполна, но я денно и ночью буду замаливать твой грех, а Любаше, ейной матери, ясное дело, молиться за дочку свою. Авось обойдётся, авось судьбина твоя выправится. Авось и Катюшку Господь не оставит своими милостями: глядишь, найдёт себе паренька, со временем возьмут они сиротку на воспитание. Прбпасть, сколько ныне обездоленных детишек. Али как-нибудь ещё дела их образуются и уладятся. Господь, известно, всемилостив».

Проводив взглядом, как давнишне повелось у неё, супруга до самого сворота в проулок, вошла в дом, постояла на порожке у двери, пробрела на серёдку комнаты, остановилась. Похоже, не знала, за что приняться, хотя никогда днём, и до самого поздна, не сидела без дела. А сейчас потерянная стояла посреди комнаты. Подросток Кузьма недавно пришёл из школы и сидел у окна за уроками. Что-то бормотал, решая задачку. Нос в чернилах, волосы взъерошенные, выхуданный. Что говорить, старательный мальчонка, хотя, поглядывая в окно, наверное думает: эх! скорей бы на улицу, к пацанам. Любил сразу после школы выполнить уроки, чтобы потом подольше побегать. Задачка, однако, явно не даётся. Но он умный, упрямый. Они все, Ветровы, умные, упрямые. Отраднo матери: славный сынок растёт. Они все трое её сыновей славные. «Ах, Николашенька», – пронизало неизбывной памятью.

Кузьма привык: когда мать в доме – она лишь вечерами уходила мыть полы в клубе и правлении колхоза, – то всегда шебуршится, двигается – скребёт, метёт, моет, варит, на дореволюционном зингере строчит. А сейчас что такое – мать, кажется, вошла в избу, однако тишина за его спиной. Оторвался от задачки, взглянул на мать – стоит посреди комнаты, оцепенелая, с закушенной губой.

– Мама, ты чего?

Вздрогнула. Порывисто подошла к Кузьме, крепко обняла его за голову, и вдруг заплакала, зарыдала.

– Мама-а-а-ня?

Когда Кузьма видел её плачущей? Не припомнит. Не любит мать плакать. Сильный она человек, не как другие женщины. «Кремнёвая баба, Полька-то Ветрова», – услышал он однажды от взрослых. Но нет: вспомнились Кузьме слёзы матери – на Николашину похоронку с фронта. Словно бы ссеченная, упала она тогда у калитки на землю с извещением в руке. А плакала как – боязно и вспомнить: казалось, при каждом вздохе хотела войти в землю, зарыться в неё. Трясло её, било. Кузьма мельком тогда увидел её лицо – и поразило: слёз не было, а глаза вроде как горящие, в огне. Такого страшного плача Кузьма больше ни у кого не видел, даже у пацана Сашки Роговцева, которому прошлым летом косой нечаянно отхватили полступни. «Кремень маманька-то у меня», – не без горделивости думал Кузьма.

С трудом вывернулся из рук матери, заглянул в её глаза. Снова – нет как нет слёз, и, сдавалось, не влаги излиться из её глаз, а огнём пыхнуть: красные они, как накалённые.

Сипло вымолвил:

– Да ты чего, мама, ня?

– Ай, так!

И отошла, стала хлопотать у печи, чрезмерно стуча чугунами. Видит Кузьма – вслепую тычется мать, бестолково, уронит то заслонку, то лучину с тесаком.

Молчала весь день. И вечером была немногословна и задумчива, когда пришла с конторских помывок.

Всю ночь не спала, ворочалась. Илья Иванович тоже не мог уснуть, покряхтывал, вставал, курил, в задумчивой хмури пуская дым в приоткрытую дверку печи. Наконец, спросил, хрипато прокашливая занемевший голос:

– Поль, а письмо-то не от Афанасия ли было? Не стряслось ли чего с ним? Чую, таишься и маешься, а?

– Охо-хо, – глубинно и тяжело вздохнула она, но по привычке с плотно сомкнутыми губами.

Но губы всё же разомкнула, заговорила, – тягуче, неверным голосом. И о письме поведала, и о своих переживаниях и опасках.

– Не отдам ей сына, не отдам, – прерываясь, повторила многожды, казалось, уже на срыве дыхания, каким-то тяжёлым, наждачным шепотком.

Уснуть не смогли оба. До ухода Ильи Ивановича на конный двор – куда он обычно приспевал самым первым – проговорили, смолкая, вздыхая. Зачем-то всматривались в мутные и качкие сумерки за окном.

– Слыш, Поль: не поломать бы жизнь обоим, – осторожно заметил Илья Иванович у калитки.

– Куды уж, Ильюша, дальше ломать: переломана и без того, – отозвалась, но не сразу, Полина Лукинична. – Да жить-то дальше надо: молодые ведь. Девочек вон скока повсюду. А для неё парнёшка какой-нить, ли чё ли, не найдётся? – Помолчав, прибавила с неестественной, совершенно не приличествующей бодростью: – Ежели встречу её – расчихвостью. Чертям будет тошно. Ишь ухватила за нашего Афанасия, точно кощёнка коготками за дармовую рыбу.

– Не надо бы этак о Катюшке, – насупился Илья Иванович и отвернулся от жены. – Девка она славная, чего уж ты.

– Не надо, не надо! А как надо? А как надо? В улыбочках перед ней расползтись, а сыну жизнь сгубить за понюшку табака?

– Может, не будем встречать: пущай сами разбираются, – угрюмо и глухо, будто из-за стенки, вымолвил муж. – Им, пойми, жить-то. А?

Полина Лукинична внешне сникла, промолчала. Уставленно смотрела себе под ноги. Муж в потёмках разглядел её крепко-накрепко сомкнувшиеся губы, туго сморщенный подбородок. Также промолчал. Пошёл неторопко, пожёывая погасшую скрутку. У сворота в проулок, однако, приостановился, будто что-то позабыл, слегка повернул голову к своему дому. Не вернулся и ничего более не сказал, пошёл дальше.

«Чего останавливался? – напрягаясь и зачем-то даже поднимаясь на цыпочки, всматривалась ему вслед жена. – Сомнения, видать, гложут, ещё поугovarивать хочется. Не уговори-и-ит! Не да-а-амся! Уж рубить, так рубить. С плеча. Чтоб разом, чтоб обратков не было ни ей, ни ему и чтоб нам всем – перехворали и – из сердца вон».

Серыми холодцеватыми буграми тумана накатывалось на Переяславку утро. Не сегодня завтра – лето, но природа, как в предзимье, тяжела, неуклюжа, затаённа. Кто знает, может и снег нагрянуть. А вот заморозкам непременно случиться: всегда они в самом начале лета хозяйничают на утренних зорях, подмораживая нежные побеги. В сердце у Полины Лукиничны стало ныть, что-то, как жилы, тянуть, тянуть, вроде даже вымогать наружу, чтобы, казалось, если уж обнажать, так обнажать до мяса, до костей. В груди сгущалась тягость – и вот-вот, сдавалось, ноги подломятся. Как для избавления, вглядывалась женщина в туман, чтобы увидеть Ангара, свою красавицу реку, свою любимицу. Может, от неё придёт какой-нибудь спасительный зов, намёк, отсветом ли, всплеском ли. Но не видно реки. Ни реки, ни неба, ни окрестностей перея-

славских родных и дивных – ничего отчётливо и явственно не видно, кроме изгибистой, изрубленной ухабами дороги до сворота в потёмки проулка да ближайших, исчернённых ненастями и временем заплотов из горбыля. «Ох, грехи наши, грехи непосильные», – поплелась Полина Лукинична в избу, держась за мучительницу свою вечную – поясницу. Кузьму скоро уже пора будить: в школу мальчонку собирать, кормить, расчёсывать гребнем его непокорливые кудлы, растущие – посмеивались повсюду – «растопыркой», а потому и дразнили его Кузей Растопыркиным. Начинаются нескончаемые домашние хлопоты, в которых забыться бы, а то и спутать бы своё сердце. Ах! спутать бы, не натворить делов.

Глава 15

И весь день подступали, подкрадывались к Полине Лукиничне сомнения, всевозможные беспокойные мысли. Они хотя и смягчили сердце, но хватко и жёстко, на разрыв пытали его.

Однако крепкий и упористый её норов мало-помалу осилил-таки колебания: не стала она дожидаться мужних увещаний в нелёгких разговорах, боясь вовсе расслабнуть, а потом конечно же отступить, столкнувшись со своей совестью и разумом. Порешила: махом ныне же, лучше сегодняшним вечером, порубить окайные узлы судьбы. Присмет грех на душу, но и тем самым освободит для сына дорогу в счастливую, благополучную жизнь. Он умный – он поймёт свою мать, непременно поймёт, родненький, и поступит благоразумно.

После помывок часа два до самого поздна Полина Лукинична простояла у заплота вечерней школы, подстораживая Екатерину Паскову.

– Ты чего же, гадюка, моему сыну жизнь увечишь? – обрушилась с ходу, из потёмнок хищно надвинувшись на оторопевшую девушку. – Не допуш-шу! Убью себя, а не допуш-шу, чтоб ты его женой стала! Како тако счастье ему принесёшь, пустопорожня-то? Смерти моей хочешь, гадина? Получишь! А как опосле жить будешь, людям в глаза зыркать, с моим сыном миловаться?

Снова рядом с Екатериной дохнуло мраком ямы – «Убью себя», «Смерти моей хочешь». Воздух, почудилось ей, вокруг загустел, сплотился, как, возможно, земля в засыпаемой могиле. Даже дышать стало трудно, а перед глазами – черно. Сорваться, убежать бы. Ничего не слышать и не видеть. Как жестоки люди, как жестоки! Но плотен воздух, а в лёгкие уже точно бы земли набилось – невозможно стронуться с места, невидимый, но чуждый гнёт одолел и душу и тело.

– Полина... Лукинична... Полина... Лукинична... – едва выговорила она онемевшими губами и вдруг пошатнулась, поосела враз. Успела ухватиться за доску забора, но всё равно не смогла удержаться на ногах – привалилась коленями к земле.

Она не потеряла сознание, ей не стало дурно как барышням в старых романах, но она действительно не смогла устоять на ногах. Не словами ударили её, а чем попадая, и били так, чтобы наверняка повергнуть, а то и – убить. Хочет подняться, однако уже и руки подламываются, пальцы слабеют. Всю тянет книзу, и упавшая на землю коса – вроде верёвка с грузом.

Не стала Екатерина сопротивляться – притиснулась к забору: что ж, унижение так унижение, смерть так смерть.

– Ты чего, ты чего, дева? – принаклонила к ней Полина Лукинична. – Эй, жива ли?

– Ага.

– Пала, точно обухом по голове тебе вдарили.

Морщась от ломи в спине, помогла Екатерине подняться, под локоть довела до лавки. Присели с краешку, молчат. Со стороны можно подумать, что обе – старушки: поджались, присгорбились, глазами зацепляются за землю под ногами. Мимо – парни и девушки, шумно и весело расходятся с занятий. По-ребячьи толкаются, минуя узкую калитку, хохочут. Где-то растянули залихватски гармонь, и девичье многоголосье задорно и кокетливо стало вить венок из слов:

Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой!
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой!..

Праздник жизни теряется и гаснет в сумерках улиц, Екатерина и Полина Лукинична остаются совсем одни, на них отовсюду наступают потёмки, коконом тьмы облекают, отъединяя ото всего села, а то и ото всего белого света.

– Любишь Афанасия? – проталкивая голос и крадущейся косинкой взглянув на Екатерину, спросила Полина Лукинична.

– Люблю, – вздрогнув точно бы в испуге, покачнула головой Екатерина.

– И я люблю. Только вот материнская-то любовь, Катюша, куды как крепше. У-у, крепе-е-пше! Крепше стали. Крепше даже смерти. Да, да, вона оно по-каковски баю! Разумеешь ли меня?

Екатерина покорливо мотнулась всем туловищем, – похоже, поклонилась. Но разговор не развился, снова нагушалось молчание. В окнах повсюду зажигались огни, вытесняя мутную полумглу. Однако небо и дали уже устойчиво черны, и ночь в этот час конечно же необорима, не отступит и вскоре всецело затопит собою переяславские просторы. От Ангары и безлюдных сопоток правобережья наволакивало угрюмой мшастой сыростью, чёрной изморосной дымкой. Становилось знобко. Полина Лукинична широкими резкими движениями плотнее закуталась шалью, решительно поднялась, – казалось, бодрила себя, настрапала. Чрезмерно громко кашлянула, хотела что-то сказать, однако слова отчего-то не пошли, заколодились в груди. Перемялась с ноги на ногу, зачем-то норовя ухватить взглядом низко склонённое лицо Екатерины.

– Слышь, пора уж по домам нам разбежаться, ли чё ли, – сказала, наконец, так и не взглядев лица девушки, – да главного-то не сказано. Ты вот чего, дева.

Екатерина поужалась, ещё больше сгорбилась: поняла – пощады не ждать, женщина собирает силы, чтобы сказать как задумано и, видать, на том точке в разговоре и быть.

Полина Лукинична снова хотела было что-то произнести, да снова осеклась, снова замолчала. Но Екатерина знает: Ветровы – они решительные, они умные, они знают, как поступить, что сказать, и Афанасий хотя и похож на отца статью и лицом, однако норовом и разумением – слепок с матери.

– Эх, чего уж! – по-мужски кулакасто отмахнула рукой Полина Лукинична.

Одолевали женщину сомнение, мучила кровь нерешительность. Однако довольно терзаться, надо говорить, заканчивать эту пытку.

– Вот чего тебе, Катюша, хочу сказать напоследки: отвадь от себя Афанасия, ради Христа, отвадь. Отвадь его, окаянного, умоляю! Он приедет, только шагнёт к тебе, а ты ему – другого, мол, люблю, прости, прощевай. А? Скажешь? Или чё-нить другое брякни. Поразмыслить есть времечко. Отвадь, огорошь парня! Ладом? Уговор?

Екатерина, утнутая, вконец раздавленная, молчит. Не видит ни чёрного, ни белого света, и не сразу поняла, что зажмурилась.

– Ну же, дева? Пойми: добра хочу и тебе и ему.

Приоткрыла веки – тьма. Может быть, уже в могиле? Хорошо бы.

– Отвадить, говорите?

Казалось, произнесла потому только, чтобы проверить – жива ли ещё, может ли говорить, видеть, понимать.

– Отвадь, родненькая, отвадь! Ну, чего ты вся заостенела? Замёрзла, ли чё ли? На-кось мою шаль. Дай повяжу на тебе. Ой, батюшки: да ты горишь полымем, лбом своим ажно обожгла мне ладошку.

Но тотчас, как в беспамятстве, ринулась напролом, уже не давая передыху ни себе, ни Екатерине:

– Поклянись, что отвадишь? Поклянись. Покляни-и-сь, родненькая! Умоляю! Клятвой святой и нерушимой скрепи наш уговор. Клятва – она силища, она поборит и твои и мои сомнения. Клянись. Клянись, доченька!

Екатерина насилу разжала губы, но и сама не поняла, сказалось ли что.

– Ну, чего ты, чего? Не слышу, Катюша. Повтори, родненькая!

Екатерина снова шевельнула губами, и какое-то слово, точно бы напуганное мраком и холодом, вздрогнуло в воздухе. Она не чуяла, не слышала себя; она горела, и не хруст ли и треск огня во всём её существе оглушил её, палом не омертвило ли сердце?

– Вот и молодчинка, вот и ладненько, вот и уговорились. Смотри, помни – *покаялась!* Клятва – ого-го что такое! Мой свояк Гошка Пеньковский как-то раз поклялся прилюдно, что пить бросит. И – бросил ведь, а мягкоте-е-елым был! Бросить-то, вишь, бросил, да сердце не выдержало крутенькой перемены: помер мужик через месяц. Ой, об чём, полоумная, калякаю! Вот чего давно уж хотела сказать: люблю тебя, Катюша, всем сердцем, славная ты девушка, ан сынок дороже мне жизни моей. Умру за него, так и знай.

Но неожиданно голос её смялся, растёкся – и рыдания стали увечить корчами черты её солидного, «ветровского» лица, пригигать к земле стан:

– Ой, чиво натворила, чиво натворила, окаянная баба я! Господи, помилуй меня, грешную! – мелко и спешно перекрестилась. Приобняла Екатерину, погладила, как ребёнка, по голове: – А как тебя Афанасий-то кличет? Знамо на всю деревню: Катя, Катенька, Катюша. Не имя – песня. Ах, Катя, Катенька, Катюша, – песня ты наша прекрасная. Прекрасная, да – скорбная, ой, ско-о-орбная. Бедовая ты головушка. Прости, родненькая, бабу дуру, прости, ежели можешь, – причитала, как над покойницей.

Но, помолчав, преодолела эту вырвавшуюся из оков её по-мужичьи дюжего, семижильного характера слабину – распрямилась, пересиливая боль в спине, кулаком смахнула с глаз и щёк слёзы.

– Довольно, Екатерина, разговоров, пора расходиться. Вона уж темень-то какая. Тебя, слышь, до дому довести? Айда вместе, ли чё ли!

Екатерина отозвалась очень тихо, и было понятно, что сказала столь негромко вполне осознанно, – только для одной себя:

– Я сама. Теперь всегда сама.

– Что, Катюша?

– Я сама. Сама.

– А-а.

Полина Лукинична вздохнула, спешно перекрестила неподвижно сидящую Екатерину, шепнула поверх головы, минуя взглядом её сровнянные с сумраком глаза:

– Положись, дочка, на волю Божию. Ну, бывай. Христос с тобой.

И, несоразмерно широко шагнув, тотчас пропала в ночи, будто в яму сорвалась. Или же не было никого.

Глава 16

Долго ли Екатерина просидела на лавке – не знала. Поднялась, пошла, не чуя пути, в направлении, как ей казалось, дома, по-старушечьи неверно переставляя ноги. Однако вскоре поняла, что направление ошибочное – шла в обратную сторону, к Ангаре, в самый тёмный и непроглядный край Переяславки, подпертый с правобережья глыбами взгорий, тайгой. Мрак, безмолвие, жуть. «Топиться иду, что ли?» – подумала безразлично и буднично.

Постояла на яру. Внизу, в реке, щедро рассыпанные небом, плавали звёзды, не тонули, а, напротив, поминутно и искристо вспыхивали в волнах. Дали плотные, чёрные, но там, где недавно село солнце, Екатерина разглядела – небо морщилось бледной кожей, будто напряжённо и мрачно думало. На далеко отстоящей от Переяславки железке густо и властно прогудел несущийся к Иркутску паровоз. Екатерина, как по оклику, полуобернулась – увидела мощно пыхнувшие из трубы искры. И тотчас неожиданно и отчётливо расслышала в себе, казалось, разбуженное этим повелительным трубным гласом и огнём из глубин ночи: «Иди – живи».

«Жить?»

«Надо ли?»

«Для кого?»

«Зачем?» – стало наперебой перекликаться в сердце.

Но её сильная, живая, рано повзрослевшая натура жила своей жизнью молодости и любви. Молодость и любовь были истинными, как извечно истинными пребывали под её ногами земля, а над её головой – небо. Она не могла, или ещё не умела, победить в себе природу жизни, потому что сердцем и рассудком сама была частью всеобщей природы: частью этой прекрасной реки, частью этих немерянных таёжных лесов, частью своего родного села, частью всего сущего под этим грандиозным небом звёзд и облаков. Нужно было жить. Конечно, нужно было и хотелось жить, но – жить надеясь и веря. Но на что надеяться, во что верить? Что должно было стать для неё жизнью – судьбой, смыслом, направлением, опорой?

Она отвела взгляд от реки, пошла прочь от яра. «Ещё, наверное, успею утопиться», – заставила себя усмехнуться, но поняла, что только лишь сморщилась. Шла убыстряясь, но нет-нет да обернётся, но нет-нет да смедлит шаг. Не ждала ли – что-то или кто-то позовёт, подскажет: вот так поступи, вот так живи, Катя, Катенька, Катюша? А кто или что окликнет и подскажет – река, небо, холмы, поля или же люди?

«Сама, теперь сама», – повторяла, вроде как крепко-накрепко заучивая, отодвигая другие мысли и настроения.

В дом пробралась тихонько, на цыпочках, шмыгнула в свой закуток у печи. Никого ей сейчас не надо, утихла бы душа, угасли, замертвели бы чувства. Мельком увидела – мать тяжело приподняла голову с подушки, спросила сонно:

– Пришла, доча? Слава богу. – И сразу задремала, вымотанная за день.

«Сама, теперь сама», – являлись слова, но уже без усилий, каким-то торжествующим нудным самотёком, как случается во сне, и ты не можешь противостоять и что-либо изменить.

«Слышишь, мама: теперь я сама», – приподнявшись на локте, мысленно и неожиданно обратилась она к матери, но спотыкнулась, напряглась вся, не зная, как пояснить даже самой себе: а что, собственно, сама?

– Мама, мама, – тихонечко проскулила, упрятывая лицо в подушку.

Не думать, не копать, не растревать душу! Нужно бы уснуть, отдохнуть, наконец, забыться. Однако сон зловредно обходил стороной. Грудь горела, кровь, казалось, обжигала жилы. Нет, не уснуть, не спрятаться от маеты и тоски!

Чредой, наталкиваясь друг на друга и тесня друг друга – вроде как боролись за первенство, – подступали воспоминания – образы, виды, слова. То пригрезится мать Афанасия,

страстно и страшно требующая: «Поклянись, поклянись!» То явятся перепутьями-переплетениями улицы, мосты, площади пугающе незнакомого для неё Иркутска, по которым она отчаянными перебежками спешит. Запинается, падает, вскакивает, однако не может никуда прибыть, и в итоге запутывается, заверчивается так, что вот-вот заплачет, запричитает, взывая о помощи. То вдруг предстанет Афанасий, такой весь весёлый, могучий, устремлённый. Он видеть не видит Екатерину и вышагивает своей деловой машистой поступью своей дорогой. Она рвётся из перепутей, из многолюдья улиц, чтобы подойти к нему и сказать: «Здравствуй, любимый, не ждал, а я вот взяла и приехала к тебе!» Однако Афанасий – взором вперёд, поверх голов. И идёт, идёт в ведомом только, очевидно, ему одному направлении. Екатерина отчаянно вскрикивает: «Афанасий! Вот же я!» И его шаг, кажется, замедляется, а голова – похоже, что неохотно – поворачивается. Однако снова, будто подстораживало, врывается, рубя с ходу, наотмаш: «Поклянись, поклянись!» И – нет как нет Афанасия: его образ смят, рассыпан, искромсан. Опять Екатерина оказывается в сплетениях иркутских улиц, среди чужих людей, в толкотне. Заплутала как в тайге. Ищет глазами любимого. Не находит, мечется.

«Поклянись, поклянись!» – настигает всюду, куда не кинься.

Жуть. Не спрячешься. И то ли сон, то ли явь – уже не поймёт Екатерина.

«Мне нужно забыть его, и тогда всем нам будет хорошо. Всем!»

«Ещё минуточку, ещё секундочку, и я *одолею* мои надежды. Я изменюсь и стану жить, как надо, а не как душа моя требует».

Но ни сомнений, ни воспоминаний она пока что не способна была побороть, отодвинуть от себя. Жуть напирала, сбивая и смешивая мысли, сумраком кутая и забивая душу. Вспоминалось: до чего же тяжело добиралась в Иркутск, – стало быть, не судьба была встретиться. Ещё тогда надо было крепко задуматься, остановиться, повернуть назад, смирившись с судьбой. Неужели непонятно, что и судьба, и люди, и пути-дороги были против той встречи, как в сговоре? Письма его не доходили – поразмыслить бы хорошенько: неспроста, наверное. Вымерзла в своей кокетливой беленькой дошке на рыбьем меху, в трикотажных модных чулочках – вот, и сама природа была против, хотя перед поездкой долго не жили Переяславку чудесные ростепельные деньки. Простыла страшно, мать пользовала настоями и мазями, но и по сейчас ещё нападает кашель и подскакивает температура. Как только не умерла! В дороге, вспоминается, что-то поминутно стопорило, не пускало к любимому, одна загвоздка возникала за другой, как по чьёму-то недоброму замыслу, по чьей-то неумолимой воле. И попутные машины не останавливались, пришлось, маясь, тащиться в повозке. Наконец-то, попутка подобрала, да очередная незадача – в дороге поломалась, и казалось – никакими усилиями не стронуться с места. Потом по горкам и рвам Глазковского предместья с лихвой поплутала. На проходной завода свирепый туповатый вохровец сцапал, казалось бы, единственно её и поджидал, и причудилось – всё, навеки пропала, не вырваться из хватких лап злодейки судьбы, дальше – неволя, лагеря, рудники. Страху натерпелась, чуть ли не с жизнью прощалась.

Однако – было же и другое, случились и благоволения судьбы: «Катя!», «Афанасий!» – потрясённые, обрадованные, одновременно вскрикнули. Неотрывно друг другу в глаза смотрели. Да что там смотрели! – будто пили, захлёбываясь, нектар жизни. Пришли в цех, там сумрачно, грохот, скрежет, бедлам, а – радостно, светло в душе. Он, захлихвотски орудуя молотом, выказывал перед ней свою удаль и силушку. Она и сейчас готова воскликнуть, заявить на весь белый свет: как прекрасен её возлюбленный! Смотрите: богатырь, искусник! Потом рука в руку шли по бескрайней, изумительно красивой улице, и душа к душе льнула, и весь город заглядывался на них, любясь их молодостью, красотой, статью. В магазин заглянули: «Буду, Катюша, откармливать тебя: больно уж тощя́ ты». И брал, брал то, другое, третье, высыпая на прилавок шальные деньжищи. Екатерина раньше и помыслить не могла, что такие вкусности на земле водятся. Вышли к Ангаре и стояли перед ней, перед своей родной рекой, а над ними –

ясное небо, впереди – распахнутые речные дали. Грезилось, жизни быть радостью, праздником, любовью вечной.

В общежитии сидели за одним столом, рядышком, плечом к плечу, женихом с невестой. И здесь на них заглядывались, любовались ими. Только и плохо было – та *нескромно* высокая и *нескромно* яркая рыжей, к тому же накрашенная девица путалась, сердила Екатерину. Теперь понятно, что понапрасну сердилась, потому что мысли и душа Афанасия были лишь только с ней, со своей Катей, Катенькой, Катюшей. Помнит и тешится: «Всё, Катенька, хорош: разгоняю компашку». «Пусть веселятся. Тебе жалко, что ли?» Понятно, лукавила тогда, немножко привередничала, счастливая, везучая. «Жалко! И тебя и себя жалко: маемся. Разве не прав?» – «Только о себе и думаешь. Несчастный эгоист». Как же было не поворчать, когда счастье уже твоё, и никуда ему не деться. «Да, эгоист. Но ты приехала ко мне, а не к ним. Выходит, праздник у меня, а не у них». – «У нас праздник». – «Правильно, правильно! А потому к чертям незваных гостей!»

И, как по волшебству, – вдвоём остались. Да и как же не волшебство случилось, если вмиг такая ватага молодёжи хоп – и улетучилась.

Но и другие слова, уже зарубинками лежащие на сердце, припомнились: «Не будет, говоришь, детей? Ну и ладно! После сессии на денёк-другой нагряну в Переяславку. Жди со сватами».

Улыбнулась Екатерина, разнеженная воспоминаниями, однако снова, чтобы, видимо, пресечь её радость, отнять надежду и мечту, – «Поклянись, поклянись!». И – нет Афанасия. Возможно, и он услышал голос матери и не посмел послушаться, поступить вопреки родительской власти.

Глава 17

«Он должен быть счастливым».

«А – я?»

«А – что – я?»

– А ты полетишь к солнышку, доченька! – неожиданно услышала она хотя и хриповатый, но ласкающий шелест чьих-то слов, тихих-тихий, но явственных. Поняла – из далёкой-далёкой дали прилетели они, уже, может быть, и не голосом человеческим, а мелодией и отзвуком иных сфер.

Но кто же мог так сказать? Чей этот хриповатый голос? Голос мужской, и что-то в нём тотчас распозналось родное, но забываемое и такое летучее, как дым, – не удержать ни в себе, ни рядом.

Догадалась, вспомнила, шепнула:

– Папа.

– Папа, ты где? Ты не погиб на войне? Ты здесь? Отзовись. Помоги своей неразумной дочери.

Привиделось ярко и зримо: ещё очень маленькую, её подкидывал на руках отец и приговаривал, посмеивался:

– Хочешь к солнышку? Лети-и-и!

И – подкидывает. И – снова:

– Хочешь к солнышку? Лети-и-и!

И – выше, ещё выше подкидывает щупленькое тельце дочери.

А она:

– Я не к солнышку хочу, к тебе и к маме!

Он прижимал её к своей груди, тыкался усами в её губы:

– Ай ты вкусенькая моя доченька, ай ты розовенький мой цветочек!

«Да, папа, я полечу к солнышку. И мы когда-нибудь с тобой встретимся на небесных путях».

– Ах! – вскрикнула, потому что снова взлетела. Взлетела высоко-высоко, возможно, чтобы и в самом деле полететь и не вернуться в руки отца.

Но уже непонятно ей: та, маленькая, лёгонькая телом и душой, или нынешняя, взрослая, уже отягчённая жизнью и судьбой, взлетела к небу, к солнышку? Если взрослая – неужели папа смог подбросить её да ещё столь высоко?

Но где он сам?

Его нет. Его нет.

И снова наскочил зверем страх: если вверх взлетела – придётся ведь, коли не имеет крыльев, вниз падать, так? И действительно: она летит вниз, летит, несётся стремительно, с оглушающим воем ветра в ушах. О, ужас: рук, подкинувших и следом принимающих на земле рук, ни отцовских, ни чьих бы то ни было других, – нет. Над собой ещё чувствует пригревающее голову и спину солнце, а перед глазами – яма, пропасть, бездна. В грудь и в лицо дохнуло холодом и сыростью. Закричала:

– Папа!

– Мама!

Вздрыгнула – проснулась. Жива, лежит в кровати, но в груди – комок, стон, в ушах всё ещё гул. Страхом и отчаянием свинцово налитое тело – не шелохнуться, будто пригвождена. Но в окно заглядывает добрым соседом солнце, на кухне мать с шумом передвигает по печной плите чугунок, пахнет сваренной в мундирах картошкой, простоквашей. Сестрёнка всунула свою мордочку в застрёху занавески:

– Ты чего, Кать? Зовёшь кого?

– Что, я кричала?

– Кричать не кричала, но мычала, – насмешливо сказала мать, тоже просовываясь лицом в закуток к дочери. – Снилось чего, что ли?

Екатерина смотрит на солнце, на мать, на сестрёнку, верит и не верит, что явь светла, что сама она жива и здорова, что дорогие её люди рядышком, а она с ними, что впереди – жизнь, а не могильный холод.

– Хороший был сон – папу видела.

Мать вмиг сникла, отошла к печке и клюкой без очевидной надобности стала тщательно шурудить в топке раскалённые уголья. Маленькая Мария присела на корточки возле матери, прижалась щекой к её спине.

– Чего хоть он делал-то, расскажи? – попросила мать, когда Екатерина оделась и вышла из своего закутка.

– К солнцу меня подкидывал, высоко-высоко, аж дыхание перехватывало. А я вопила, что не хочу к солнцу, а к нему и к тебе.

– О-хо-хо. Переживает и он за тебя, – значительно пояснила мать. Тяжело помолчала, прибавила: – Что ж, а нам жить-ковылять дальше. Давайте-ка, девки-припевки, позавтракаем да кто куда разбежимся. Нам, Катюша-горюша, с тобой на ферму топотать, а тебе Машка-букашка – в школу. Живё-о-ом! – протянула она бодренько, но неожиданно всхлипнула, ткнулась лицом в ладони.

Дочери повлажнили глазами, прильнули к матери. Гладили её в молчании, а она с силой притискивала их к себе, будто они могли тотчас покинуть её, бросить.

– Айда жить, девки, что ли. Горя нашего не выплачешь, не выгорюешь, как не плачь и не горюй, а жить-то надо. Надо, девки, ой, как надо!

«Надо жить, надо жить...» – отзвуками вторилось в душе Екатерины, когда она шла с матерью на ферму. Повсюду в этом раннем дымноватом предлетнем утре роилась жизнь – жизнь людей, жизнь животных, жизнь насекомых, жизнь растений, жизнь неба с землёй. Люди поторапливались по своим делам, хлопотали во дворах и на огородах, коровы и овцы сбивались в общее стадо, и оно брело из улицы в улицу на луговины и елани под правлением лихо свистевшего бичом пастуха. Уже трудились пчёлы, метались в розысках пока ещё малочисленных цветов, дымились прозелениями листиков и ростков дерева, по небу широко, ярко, в богатстве колеров и оттенков разливалась заря. День обещался быть тёплым и продолжительным. Смешанно, но духовито пахло разнообразной весенней смолю – листиков, хвои, «слёзок» стволов сосен – и навозом, который выносили переяславцы на огороды и поля. Ангара, призастенная туманцем, пробивалась к людям всполохами бликов, возможно, говорила: «Смотрите, как я хороша!»

«Надо жить, надо жить...» – вглядывалась Екатерина в закраешек излуки Ангара, ловя глазами её лучистые приветы. И в душе понемножку отпускало, легчало, мало-помалу прояснялось. Может быть, выходила из неё мгла дурмана, ночь.

На ферме в стойлах переминались заждавшиеся коровы, они с неудовольствием мычали. Бабы суетливо готовились к дойке, гремели подойниками. Мужики, пыхая дымком папирос и самокруток, с лопатами и вилами в хмурой неохотце брались за работу. Отовсюду – пересмешки, подначки, матюгальные словечки. Началась извечная, но привычная и будничная жизнь.

«Жить. Жить...» – слышалось Екатерине в струйках молока, которые ударились о дно сосуда, когда она принялась за дойку.

Глава 18

Вечером – школа, любимые предметы и учителя.

На истории внимала утянутому в мундир отставного пожарного, мальчиковато низенькому старичку Степану Илларионовичу, который, зачем-то приподнимаясь на цыпочки, говорил беспокойно шевелившемся классу:

– Наш великий вождь и учитель товарищ Сталин, отбывая ссылку в глухой сибирской тайге, самозабвенно мечтал об Октябрьской социалистической революции, разрабатывал планы по её претворению в жизнь. Вокруг – звери, тайга, лихой народец. Морозы трещали, за перегородкой бормотала молитвы старуха-староверка, у которой наш великий вождь и учитель снимал угол. Ну, как можно было думать обо всём человечестве? А ведь думал!..

Некоторые ученики, насили сдерживая и сбивая смех, кашляли, кхыкали, зажимали рот ладонью. А Екатерине сочувственно и с сердобольно казалось, что этот махонький, ничтожный, вечно пьяненький и, похоже, выживающий из ума учитель подрастает и трезвеет на глазах – настолько, видимо, может человек изменяться, если во что-то поверит всем сердцем. Екатерине тоже хочется, вместе со Степаном Илларионовичем, всем сердцем верить, что великий вождь и учитель товарищ Сталин в суровой сибирской тайге, в окружении зверей и недобрых людей мечтал о революции, о счастье всего человечества. Он мечтал о счастье всего-всего человечества – как это прекрасно! А она, себялюбка, что? Она думает только о себе, о своём обывательском счастьеце. Понимать надо: должно быть стыдно! А ещё комсомолка!

На литературе недавняя горожанка Мария Семёновна, молодая вдова с двумя малолетними детишками на руках, потерявшая на фронте мужа и вынужденная, чтобы как-то прокормиться, переселиться в деревню к родне, задыхаясь своим собственным восторгом, читала вслух из «Душечки».

«...Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из её прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда ещё раньше её душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щёках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?..»

Ученики видят – в глазах учительницы скапливаются, искрясь, слёзы, и они уже ползут по одной щеке, по другой. И только Екатерина ничего не видит, не различает, потому что у неё у самой глаза уже потоплены слезами.

Учительница пытается дочитать, осталось всего ничего, но всё – не может. Замолчала и до звонка простояла у окна, отвернувшись лицом от замершего класса.

Дома Екатерина с жадностью хватается за «Душечку», о которой сегодня впервые узнала: «Что же она, как же она, бедненькая?»

Читает с ненасытностью: «Вдруг сильный стук в калитку...»

Невольно вздрагивает: ей кажется, что наяву стучат, *пришли* за Сашей *сюда*, в Переяславку, к дому Пасковых.

Читает дальше, покусывая губу: «Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у неё сильно бьётся. Проходит полминуты, и опять стук. “Это телеграмма из Харькова, – думает она, начиная дрожать всем телом. – Мать требует Сашу к себе в Харьков... О Господи!”».

«О Господи!» – думает и Екатерина и тоже начинает дрожать.

«Она в отчаянии; у неё холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее её нет человека во всём свете. Но проходит ещё минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава богу», – думает она».

И Екатерина – «Ну, славу богу». дочитывает-пробегаёт последние строчки, закрывает книгой лицо и тихонько-тихонько, чтобы не слышали мать и сестрёнка, плачет у себя за шторкой.

Но это не слёзы горя, отчаяния, тоскливости. Это какие-то другие слёзы, прежде неведомые ей. Она не может объяснить, *что* с ней. Но она понимает и чувствует – душа её светла, душа её легка, и если печальна, то печальна по-особенному, совсем уж по-особенному, – радостно, догадывается она.

Через неделю – каникулы. Впереди ещё год учёбы, выпускные экзамены. А потом? А потом – хочется, чтобы всю жизнь с нею были книги, прекрасные герои, прекрасные мысли. Так и будет, так и должно быть! Она сильная, она, кто знает, сможет поправить судьбу, но – по-другому, как-то по-другому, потому что теперь уже – *не с ним, не вместе*. А с ней будут хорошие, добрые, мудрые книги, в которых она найдёт ответы и поддержку. Так и пойдёт с книгами по жизни. Хорошо бы поступить в институт культуры, на библиотечного работника: и книги, понятно, можно будет читать не только дома, но и на работе. Как это прекрасно и приманчиво! – мечтаётся по-детски и дышится легко. Может быть, не совсем легко, но конечно же легче, свободнее.

Таким руслом-мечтой потекли мысли и дела её молодой, малоопытной жизни. Дома – родные люди и тихий уголок-закуток с книгами, с грёзами. А выйди на улицу – встретит небо тебя, открытые дали полей и тайги. Чуть отойдёшь от ворот – изумрудно-синими переливами распахнётся, будто улыбнётся, подруга Ангара. За ней и вдоль русла и берегов – какие-то другие дали. Екатерина прищуривалась, чтобы разглядеть. Однако – *что* разглядеть, *что* такое особенное увидеть? Дали далее? Возможно ли, нужно ли?

Дали у окоёма смешивались, съединялись с небом, а небо оно и над тобой тоже самое небо: необозримое, огромное, переменчивое. Захочет – солнцем одарит, синевой, захочет – дождём вымоет, а то и градом побьёт, захочет – снегом запорошит, засыплет. Оно и поможет человеку в его делах и помыслах, но оно и беду, горесть принесёт. Запомнилось накрепко: пять лет назад такими дождями разразилось, что казалось – Переяславку в Ангару смоем. Тогда почитай весь урожай погиб, сгнил на корню, сенов мало накосили, плодородные слои полей и огородов изрядно повымывало. А потом два года и снегу было вдоволь, чтобы по весне земля была достаточно влажной, и дождей, особенно в июне, в самый раз, – урожайность год от году стала подниматься, и люди посытнее зажили.

Сменялись в жизни Екатерины день ночью, ночь днём, дни днями, ночи ночами, хорошая погода плохой погодой, – своя непреложная и вечная очерёдность и последовательность во всём. Видела, присматриваясь, как отцветали черёмухи и яблони и следом набухали завязи плодов, зеленились молодыми побегами поля и огороды, птицы ещё в мае свили гнёзда и уже скоро зачирикать и опробовать крылышки птенцам. В деревне опочило с начала года семеро стариков, одна молодая женщина умерла от рака и удавился, неизвестно почему, угрюмый бобыль конюх Селиванов, но зато родилось аж одиннадцать младенцев, и все, говорят, здоровенькие, – пять девочек и шестеро мальчиков. Особенно радовало селян, что «мальчат», «мужичков» побольше. В предвкушении богатого урожая решением правления колхоза затеялась постройка нового зернохранилища; стадо добро пополнилось молодняком, а потому замыслили пристрой-тепльак к коровнику. Сколько лет ничего не строили, только лишь, как могли, выживали, или, как говорила мать, «выцарапывались».

И Екатерина понимала, но не столько пока, по причине молодости, разумом, а – душой и сердцем, что что бы не происходило с ней, а власть жизни несокрушима. Жизнь всюду, и всюду она одиночная, но радательная властительница, как бы не возносились над ней, хитря, а то и свирепствуя, некоторые особи рода человеческого.

Жизнь всегда победит смерть.

Разве не так?

Глава 19

Афанасий приехал в Переяславку в конце июня, успешно сдав экзамены за первый курс, с прикопленными деньгами – прибыль от повышенной степендии и серьёзных заработков. Там, в городе, не тратился на пустяки, хотя слыл за компанейского, распахнутого человека, по природе своей, однако, был прижимист, как и вообще заведено у крестьянина. Знал и помнил там – к свадьбе сгодятся накопления, к тому же родителям надо подсобить, брату Кузьме одёжку сделать, кровлю на доме перекрыть новым тёсом.

Лихим наездником – будто с коня – прыгнул с бортика попутки, щедро расчёлся с шофёром, хотя тот, похоже, и не ждал никаких подношений, пристально и зорко глянул с горки на деревню и Ангари, подмигнул им. Своим привычным широким шагом направился вниз к окoliце. Поминутно занеривал рукой в карман брюк – похрустывал купюрами, которые по большей части были червонцами, невольно посмеивался: знай наших.

Знай наших, – заявляло и его бравое городское обличье: на породистой крупной голове щеголевато примостилась «лондонка»-«восьмиуголочка» – кепка с маленьким блестящим козырьком и с пуговкой на макушке. На плечах – новый коверкотовый приталенный массивный двубортный пиджак, который отяжелён, тоже массивными, подкладными, на вате, плечами. Афанасий догадывался, что пиджак делает его ещё шире, объёмистее, точнее – толще, может быть, даже тучнее, а потому ворчал в себе: «Чего доброго, на бабу смахиваю». Однако пиджака не снимал, потому что – знай наших. Брюки – наимоднейшего, весьма широкого, покроя. На ногах блещут надраенные яловые сапоги с задиристо и щеголевато подъятым носочком. И кирзой ещё небогаты люди, а у него – яловые, чуть не хромовые; ясно – знай наших. В одной руке – куртка на «молнии», прозывавшаяся «москвичкой» или «хулиганкой», в другой – громадный фанерный чемодан, до отказа набитый подарками и – учебниками. И учебники эти уже за второй курс. «Учиться, учиться и учиться», – любил он слова Ленина, и нынешним летом тоже будет, по возможности (через неделю уже нужно отчалить на северную стройку), учиться, чтобы зимнюю сессию сдать только на отлично. К тому же – знай наших – неплохо было бы попасть в сталинские стипендиаты.

Пиджаков и вообще модной одежды Афанасий хотя и не любил, но понимал – а как иначе к свадьбе нужно приодеться? Здесь, в деревне, в «задрипанном» магазинчике сельпо с вечно полупустыми, запывлившимися полками, что купишь? Автолавка – будет, не будет. И, наконец-то, не в армейском же кителе и танкистском шлемофоне жениться, порядок и пристойность в таких делах надо блюсти. Правда, в чемодане аккуратно сложенным лежал сшитый на заказ шевиотовый френч, такой, как у товарища Сталина, но Афанасий пока и побаивался, и совестился надевать эту желанную его сердцу обновку, потому что такие френчи обычно носили партийные и советские руководители, инженеры, преподаватели, вообще солидные люди, а Афанасий пока что кто? Студент, просто парень. Но всё равно хочется сбросить пиджак с «бабьими» ватными плечами, который ему насоветовали купить однокурсники, и пройтись по родной деревне во френче. Потом показаться в нём Екатерине.

Только вступил в первую улицу – здороваются с ним народ наперебой.

– Наше почтение, Афанасий! – говорят пожилые переяславцы, приподнимая над головой выше, чем обычно, кепки или шляпы, а бабки даже раскланиваются.

Подбегают с протянутой рукой молодые мужики, однолетки или мальчишки, ручкуются с задорным замахом, а то и обниматься лезут. Для всех памятен Афанасий, для всех он желанен и даже люб.

Мать на огороде в малиннике хлопотала, обрезая отмершие ветки, когда нечаянно заметила сына на подходе к дому. Сорвалась навстречу, да ноги подсекло, поясницу прошило болью. Приосела у забора. Афанасий подхватил её. Повисла на нём, зарыдала.

– Сыночка, родненький.

– Да ты чего, мама, чего? Как по покойнику? Живой я!

Говорил бодро, но у самого в груди жалостливо и смятенно сщемилось: мать за месяцы, почти год, разлуки сдала заметно, даже одряхла. Недуги, видать, наступают, подкашивая и точка, и погибшего под Сталинградом сыночка Николашу конечно же забыть не может.

Только от матери Афанасий слышал это изумительное по ласковости и сокровенности слово «сыночка». Не «сынóчек», как правильно бы, наверное, а – «сыночка», и в слове этом слышалось ему и «он» и «она», как в слове «дитятко» – и девочка, и мальчик, и ещё что-то, нечто неведомое стороннему глазу и слуху, съединено. Понимает, для матери все они трое её сыновей – дитятки, дитяти её навечно. И никакими силами, никакими болезнями и испытаниями, посылаемыми жизнью и судьбой, не вытянуть из сердца матери нежности к ним, даже уже ушедшим в мир иной.

– Ну что ты, мама? – И сам чуть не заплакал.

Смотрит сверху на её выбившиеся из-под косынки седые волосы, на зыбь морщинок, в которых плутают катящиеся вниз слёзки, и, кажется, утешает:

– Я тебе, мама, оренбургский пуховый платок привёз. Вот такущий! – несоразмерно размашисто, как, бывало, «мальчишкой-хвастунишкой» (так его поддразнивала мать), раздвигает он руки.

– Сам жив-здоров – вот настоящий подарок мне, сыночка.

И как-то по-особенному – и пытливо, и сурово, но и с лаской одновременно – заглянула в его глаза:

– Головой будешь жить – так ещё больше надарится мне и отцу всяческих радостей к старости нашей. А уж она, злодейка, не за горами. Подкрадывается.

Не понял Афанасий – о чём мать? Разве он не головой, не умом живёт, учась, работая, скапливая копейку? Сколько всюду непутёвых людей – пьяниц, лодырей, всяких шалопаев, а он разве такой. Да к тому же не пьёт, не курит. В чём можно укорить его? Почему напомнила – головой надо жить? Почему про сердце не сказала, про душу?

Но не спросить, не обдумать – Кузьма с разбегу запрыгнул на спину брательника-богатыря, следом отец чинной торопкой подошёл, приобнял, потрепал сына за представительный, коротко, по моде, подстриженный, чуб, который раньше, в недавнем отрочестве, лохматинной нечёсаной болтался на лбу, свисал на глаза. Отступил Илья Иванович на пару шагов назад и обозрел сына хитроватой смешливой прищуркой:

– Ишь ты, глянь, мать: расфранти-и-и-илси. Ваты напихал, верно, с пуд. Своих-то плеч мало, что ли?

– Теперь, батя, в городе все так носят, – загоревшись щёками и досадуя на этот «чёртовый» пиджак, вроде как оправдывался Афанасий.

Вскоре был накрыт стол. Родственников, соседей подбрело в избу.

Афанасий, наконец, решился сбросить ненавистный «бабий» наряд, надел френч, усмехнулся, украдкой глянув в зеркало: знай наших. Понял: вот оно то! И солидность, и форс, и душеотрада.

Все любят Афанасием, нахваливают его, ощупывают диковинную для деревни одежду. А мужикам непременно надо помять кожу яловых сапог: какова? Прицокивают: кажется, хороша.

– Почитай что монголка, – заключают деревенские мастаки.

Афанасию не сидится за столом, поминутно тянет шею к окну, на дверь поглядывает. Хотя и никого не поджидает, но – надо бежать, надо бежать. Катенька, уж верно, прознала, что приехал, ждёт, изводится, костерит наверняка, что долго не идёт её суженый-ряженный.

Но только, в который уже раз, хотел вставать Афанасий – мать, сегодня натянутая, непривычно бдительная, вскидывается, хватает за рукав:

– Посиди, сыночка, с людьми, уваж родителей и односельчан.

Да и люди не отстают:

– Расскажи-ка-поведай-ка, Афанасий батькович, как там в городах живётся-можетя народу? Чему обучился в иситуте, али как оно там прозывается? Про денежную реформу чего слышать? Продовольственные карточки отменят когда? Зерно за трудодни будут ли выдавать? Точно ли, что маршала Победы Жукова исключили из кандидатов в члены ЦК?

Сыпятся разномастного калибра вопросы, как картошка из прохудившегося мешка, когда мужик вскинет его на плечи.

Афанасий умеет говорить, ему нравится выступать, на комсомольских собраниях в институте он уже поднаторел в ораторском искусстве, да и в школе не был молчуном. Видит – слушают земляки, чует – уважают. Тешится его душа, млеет. Рассказывает обстоятельно, важно, объясняет заботливо, учтиво: вот как надо понимать, уважаемые товарищи колхозники, вот где собака зарыта, дорогие селяне. О попечении партии и правительства о нуждах народа растолковал, как и самому ему растолковывали на лекциях и политзанятиях в институте и на заводе. Хотя и разруха в стране, но отстраиваемся, мол, помаленьку.

О февральском и нынешнем, июньском, пленумах партии так сказал:

– Жукова действительно выдворили из ЦК. Партия и товарищ Сталин никогда не ошибаются. Ну, что из того, что Жуков – маршал Победы? Не один он победу ковал. Набедокурил чего – что ж, отвечай, голубчик. Хоть ты колхозник, хоть ты маршал – все равны перед судом партии и народа. Правильно?

Мужики закряхтели, засопели, заёрзали на табуретках, но никто не отозвался.

Афанасий крякнул в кулак, продолжил:

– Спрашиваете про нынешний указ «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущении его разбазаривания, хищения и порчи»? Отвечаю: и зерно, и любой овощ с колхозного поля являются собственностью государства и распоряжаться ими не имеют права ни колхозники, ни председатели. За утайку же хлеба и выдачу его за трудодни до полного расчета по госпоставкам колхозное руководство, как вы знаете, привлекалось по всей нашей необъятной стране, а теперь ещё строже будет привлекаться к уголовной ответственности как за разбазаривание государственного имущества. Ясно?

– Куды уж яснее, – хмуро и коротко отозвались мужики.

– Да вы чего, тёмные люди, скуksились? – добродушно засмеялся Афанасий. – Всё это временные меры, скоро заживём легче и веселее: всего будет вдоволь. Партия и товарищ Сталин знают, чего делают.

– Оно конешно, оно конечно, – бормотали и почёсывались мужики.

– Ай, Афанаська Ильич, ходить тебе в начальниках! – вскрикнул и полез обниматься с Афанасием перебравший дед Щучкин, двоюродный брат Ильи Ивановича. – Наливай, хозяин! За здоровье нашего Афанаськи Ильича жалаю дербалызнуть!

– Да присядь ты, дедуся! – зашикали на него и в несколько рук едва-едва усадили. – Дай послушать человека. Агитаторы наезживают – брешут, мямлют, слухать тошно. А тут свой человек балакает, разжёвывает, старается изо всех сил. К тому же учёный – поди, не соврёт. То-то же!

И снова – распрос-допрос. Афанасий рассказывает, втолковывает, где надо, увещевает. А за окном уже темно. Что же его Катя, Катенька, Катюша подумает?

Глава 20

Наконец, улучил миг, когда чокнулись, выпили, принялись закусывать, – вырвался за дверь. Мать – следом, нагнала у калитки. Ухватила за рукав, не пускает, но молчит, только тяжело дышит.

– Ты чего, мама?

– Сердце скололось в духоте – вышла дыхнуть свежего воздуха.

– Ну, пойду я. Не со стариками же мне киснуть. Вон, кажется, возле клуба, надывается гармонь.

– Оно конечно: дело твоё молодое.

Но пальцы матери, чувствует, заостенели на его рукаве, не разжимаются.

– Ма-а-ама, ну, чего ты? Дай пойду. Отпусти.

– Ты, сыночка, не поспешал бы. По жизни-то. Гляжу, запальчив ты больно, хёдок. Душа-то, можа, и требует чего, ан с разумением легче жить.

– Да говорила уже! Мама, отпусти, пожалуйста.

Разжались пальцы, туго затянутыми тисками раздвинулись. Крестит сына, молитву шепчет, всхлипывает.

– Вот только этих всяких поповских штучек не надо бы! Потопал я. Не плачь! Мама, прошу.

– Не буду, не буду, сыночка. Что ж, ступай. Всё снова – жизнь и смерть наши в руках Божьих, как бы мы чего не намыслили для себя.

Чинным неторопливым шагом прошёл Афанасий до проулка, и только завернул в него – мальчишкой сорвался бежать. Сердце, возможно, выбилось из груди – где-то уже впереди летит. Догоняй его! Дороги-пути не различить – потёмки казались жуткими: привык глаз к городским освещённым улицам. Не напороться бы на забор или дерево; или не сбить бы кого-нибудь с ног, – этак и покалечить можно. Деревня жила без электрического света, в окнах сиротливо жмутся тусклые огоньки керосинок и свеч, но Афанасию чудится, что он отчётливо видит и окрестность, и под ногами. Не глаза видели, а сердце. Оно же, очевидно, чувало и колдобины, и заборы, и столбы – любые препятствия, сплошь возникающие из тьмы. Ни единого раза даже не запнулся – пролетел через добрую половину Переяславки.

И вот он уже перед домом Екатерины. Наконец-то! Сейчас он увидит её, прижмёт к своей груди, окунётся взглядом в её милые светлые чёрные глаза. Столько у него заготовлено ласковых слов, столько слов и любви скопилось!

Различил сквозь занавеску огонёк в её закуске. Не ложится спать, поджидает! – ликовал, оправляя френч, приглаживая ладонью чуб. Ещё какие-то секунды – и он увидит Екатерину, свою Катю, Катеньку, Катюшу. Непременно что-нибудь такое особенное начнётся, не может не начаться. Другая, не другая жизнь завяжется, когда он увидит Екатерину, но чему-нибудь особенному случиться.

Но только, как раньше поступал, хотел перемахнуть в палисадник и легонечко постучать в окошко, как вдруг от ворот отъединилась тень.

Афанасий, чуточку испуганный, даже вскрикнул:

– Катя!

– Это я, Афанасий. Поджидаю тебя на скамейке. Ведь не мог ты не заглянуть к нам – правильно?

– Тётя Люба?

– Ну, я это, я.

– Здравствуйте. А где Катя?

– Здравствуй, Афанасий, здравствуй, родной, – приветствовала женщина вздыхая.

Помолчала, возможно, собираясь с духом.

– Разговор к тебе имеется. Не буду плутать в словесах, наводить тень на плетень, а напрямки говорю: не судьба тебе моя Катька. Не судьба. Ты парень видный, умный, мастеровитый, в анжанерá выбьешься – найдёшь себе девушку ровню, полегоньку обустроишь свою судьбу. Ступай с миром. Ступай. Вот весь тебе мой сказ.

Афанасий застыл, но чувствует – весь охвачен огнём, и изнутри, и снаружи. И начинает что-то говорить – сипота пресекает речь, комкаются слова.

Наконец, произнёс, выбивал из себя почти что по слогам:

– Любовь Фёдоровна, что же вы такое говорите? Не надо мне других девушек. Мне ваша Катя нужна.

– Я ить, сынок, не по своей воле говорю, а по её великой просьбе. Не хочет она с тобой дружбу водить. Отдельную от тебя намерена торить судьбу. А ты – отступи. Не мешай ей, Афанасий. Уходи. – Помолчав, прибавила на полусшепоточке: – Ступай с богом.

Афанасий задохнулся закипевшим в груди огнём:

– Она... не хочет... тётя Люба... да вы что... да как... зачем, зачем вы так... – горлом выдирались спекавшиеся в сгустки слова.

Любовь Фёдоровна всхлипнула, легонечко погладила Афанасия по рукаву френча:

– Ну, чего уж ты, родненький? Ну, вот так оно вышло. Смирись, отступи, Афанасий, и начни жизнь наново. Ты молоденький, ты чего только ещё не добьёшься в жизни, с кем только ещё не повстречаешься.

Афанасий зачем-то весь вытянулся, зачем-то оправил френч, зачем-то пригладил ладонью чуб.

– Позовите, пожалуйста, Катю, – сказал чеканно.

Однако голоса своего и сам не признал: чужой он, будто кто-то другой, из-за спины, исподтишка, произнёс. Не голос – металл, тонкий сталистый металл, но дребезжит, когда его пробуют на изгиб.

– Знаю, что шибко упористый ты. Не отступаете вы, Ветровы, по-простому-то. Что ж, погоди чуток – перетолкую с ней. Выйдет – так выйдет, не выйдет – так не выйдет. Её решение и судьба будут.

И, неопределённо потоптавшись ещё, повздыхав, неестественно припадающей походкой скрылась за калиткой.

Долго никто не появлялся. В доме, слышал обмерший, настроенный каждой жилкой Афанасий, встрепенулись и оборвались голоса, пометался и погас в закутке Екатерины огонёк. Однако снова зажёгся, снова забился: возможно, боролись за него, не давая загасить.

Неужели не выйдет? За что она с ним так? За что? Хотелось крикнуть. Гнев и обида ломали разум.

И, может быть, крикнул бы, да вдруг вскрикнуло. Калитка приоткрылась – Афанасия пошатнуло, словно бы ударило внезапно вихрем. Как в тумане – не сразу понял, что глаза обложило влагой, – увидел Екатерину. И вот только что и вокруг, и в нём самом была тьма, жуткая непроглядность, а вышла любимая – увидел её ясной и светлой. Вся она сияет, свет от неё исходит. И дали, почудилось, разъяснились, и небо засветилось – не в приветствии ли. От души отхлынула тьма, губы тронуло улыбкой.

Как прекрасна его любимая, как он ждал этой минуты!

Сколько передумано там, в Иркутске, с какой ясной душой приехал он на родину, чтобы навсегда соединиться с любимой. Вот она! Подойди к ней, возьми её за руку, скажи припасённые для неё самые ласковые, самые сокровенные слова.

– Катя! – в полшага шагнул он навстречу. – Катенька!..

Но нечто невероятное произошло: она стремительно и строго взглянула на Афанасия. Он, застопорившись в полуметре, наткнулся взглядом на чёрный свет её невероятных прекрас-

ных глаз. Оробел, совсем потерялся, оборвался на особенно любимом им, милуемом в мыслях слове «Катюша».

– Я тебя не люблю, – произнесла она без чувств, ровно, холодно.

– Меня... не любишь?..

– Да, не люблю.

– Ты чего, Катя, чего ты? Зачем же ты меня кувалдой по голове?

Но она, казалось, не слышала, не понимала его слов. Была неумолима, страшно чужа:

– Парень у меня есть. Полюбила его. Прощай.

Он придержал её за локоток. Она не далась – отхлынула мягкой, но сильной волной.

– Неправда! – выкрикнул.

– Правда, – ответила тихо и ровно.

– Кто он?!

– Уходи.

– Катя!

Но её уже нет. Нет как нет.

Не убежала – растворилась, погасла в пространстве земли и неба.

Может быть, её не было и вовсе?

Ни любви, ничего не было?

И нет света. Пропал он, рассыпался во тьме, завяз в ней.

И нет её прекрасных, невозможных, единственных на весь белый свет глаз, в которых огонь и темнота неделимы и едины, как неделимо и едино небо ночи со своими звёздами и планетами. Тишина. Куда ни посмотри – ночь.

И в груди Афанасия ночь, непроглядность. Отполыхало, прогорело и остались одни чёрные угли и сажа. Не видит он ни неба, ни далее, ни даже дома Екатерины, перед которым стоит. Стоит, возможно, как на распутье герой сказки, остановившийся перед камнем, на котором судьбоуказующе начертано: «Направо пойдёшь...» Но герою сказки, видимо, всё же полегче – ему определено поступить по писаному. А что делать Афанасию? Кто для него напишет подсказку, укажет направление? Недавно рассказывал землякам, как надо жить, как следует понимать деятельность партии и правительства, товарища Сталина; говорил о том, что вычитал в газетах и услышал на лекциях. А самому как теперь жить? Куда идти, что делать, даже – что думать?

Может быть, Афанасию снится ужасный сон? Может быть, нужно встряхнуться, чтобы проснуться? Проснуться и ожидать, сладко томясь сердцем, встречу.

В доме свет не появился.

Тишина и ночь.

Нет, не сон. Но и на явь не похоже.

Глава 21

Побрёл Афанасий неведомо куда и зачем.

Видит – клуб, света в нём много, наверное, две-три керосинки запалили. Зашёл, тягучим шагом взобравшись по ступенькам высокого крыльца. Мрачно обозрел – народ в зале толчётся, тени сшибаются и коробятся на стенах. Патефон скрипит истасканным трофейным фокстротом. Пары ногами шуршат по плахам пола среди окурков и ошметьев глины и назёма. Со стен невозмутимо смотрят на людей Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс. Посередке зала, видимо, для украшения, торчит разросшийся до самого потолка фикус в бочке, толсто-жирными листьями сыто, самодовольно лоснится.

Только вошёл Афанасий – весь зал так и воткнулся в него глазами, так и принагнулся в его сторону. Перебирают взгляды френч его, яловые сапоги – диво, ничего не скажешь. Девушки подобрались, платья, причёски оправляют, сверкают очами: видный парень пожаловал, городской да модник и один – диво дивное и невидальщина. Некоторые парни напыжились, но ловато насторожены, бдительны. Афанасий понимает: если были бы у этих парней хвосты – подприжали бы.

Смотрит на любопытствующий народ и чувствует – яростная неприязнь в нём скапливается, чуть что – может наружу выплеснуться. Диковатые желания пробуждаются: хочется этот кичливый фикус выдрать из бочки, саму же бочку взмахнуть над головой и – об пол. Потом ахнуть кулаком по патефону, а то и кому-нибудь по физиономии дать.

– Чего выпучились! – закипала в нём кровь.

Школьный приятель, худосочный, но задиристый Федя Замаратский, подпрыгнул. Распахнув борт куртки, украдкой показал бутылку с самогоном:

– Тяпнем, Афанасий, за встречу?

– Айда.

На крыльце прямо из горлышка хлебнул Афанасий. Содрогнулось нутро – ненавидел хмельное, мерзостью считал; а если, случалось, и выпивал в общежитии или на заводе, так то – за компанию, помолодечествовать тянуло, чтобы считали мужиком. Хотя и противно, однако ещё хватил. Передохнул, – ещё разок, и ещё. Занюхал рукавом френча.

– Хар-р-ра-а-шо!

Постояли, покурили, о том о сём потолковали – полегче стало. Однако в голове – раскачка мыслей, предвещающая не бурю ли.

Бутылка опорожнена, заброшена в кусты. Афанасий не глядя сунул Феде горсть денег:

– У бабки Зурабихи брал? Дуй к ней. Да закусить чего-нибудь прихвати.

– Сей миг! – прищёлкнул каблуками Федя.

Снова пили, благо, закуска была – не так противно шло; в какой-то момент осознал – пьётся как вода. В голове уже вихрь, сумятица, но на ногах удерживался. И – помнил, всё помнил. «Пьяный? Хар-р-ра-а-шо!» Слабосильного Федю раскачивало, но рядом с Афанасием он чувствовал себя героем – задибался на прохожих, девушек цеплял, шупал их.

– А скажи-ка, Федя, кто к моей клеился? – наконец спросил Афанасий. Слова выговаривал старательно, потому что застревали они, вроде как выталкивать их надо было.

– Да всякие ошивались хахали.

– Говори! Ну! – внезапно сгрёб за шиворот и встряхнул, точно пустопорожний куль, Федю.

Паренёк не на шутку испугался. Понял, что лишнее сболтнул. Но поздно уже было.

– Самолично, Афня, как-то раз узырил: Колян Усов увивался возле твоей Катки. Катка-то у тебя, конечно, строгая девчина. Да кто их знает, баб.

– Заткнись!

– Да я чё? Я ничё. Моё дело маленькое. Ну, ещё тятнем? – Но Афанасий промолчал, стоял недвижимый, как камень. – Ну, тады я один. Здоровьица, Афанасий Ильич, ли чё ли.

Афанасий видел Николая Усова в зале – танцевал тот с толстушкой Машей Весениной. Маша, тридцатилетняя вдова с двумя детьми, муж её погиб ещё в сорок первом под Москвой, льнула к парню, млела. Скотником Усов работал; рвался в армию – не взяли: ходил скособочкой по причине больного позвоночника, искривлённого с голодного и обильного на надсадные труды детства. Но собой был приятен и даже виден: поджарый, кучерявый, улыбчивый.

«Неужели променяла меня на него?» – сжимал Афанасий зубы, так что скулы ломило и дышалось трудно.

Выхватил из руки Феди бутылку, из горлышка крупными глотками допил отстатки, не закусил, а сказал, едва раздвинув челюсть:

– Кликни-ка его сюда.

– Кого?

– Кого, кого! Усова, кого ещё.

– Бить будешь, чё ли?

– Зови!

– Ага, сей миг, – попятился к парадному входу Федя.

Развалкой походкой вышел Усов. За ним вывалило в дверной проём ещё несколько парней, – видимо, предвкушали стычку и мордобой.

– Ну, чего надо? – спросил Усов, сплюнув под ноги.

Афанасий молчком рванул его за грудки, в упор глянул в глаза: правда или враньё? Хотя и увечным был Усов, но жилистым и сноровистым, – исподнизу уловчился кулаком раскровянить Афанасию губу. Афанасий, сатанея, кулаком хватил его несколько раз. Ещё замахнулся и наверняка зашиб бы до смерти, изувечил бы, да больше не дали: нахлынули, нацеплялись на руки, даже на спину запрыгнули. Повалили через перила на землю. Афанасий вскочил, одного сшиб, другого, но с разудалой, молодецкой оравой не справиться. Снова опрокинули, пинали, колотили чем попадая. Хорошо, ножом только для отваги и форсу размахивали.

На шум повыскакивали на крыльцо люди, сбегались от ближайших домов. Охи, ахи, писк, галдёж, брань несусветная. Собаки поднялись по всей деревне, скот загомонился в стойлах, даже петухи, сбитые с толку, прокукарекали зарю.

– Ма-а-а-мочки мои, убива-а-а-ют! – беспомощно вскидывала ручками какая-то пухленькая молодайка возле своего дома.

Но кое-кто вворачивал, подзуживая, распаляя нападающих:

– А ну-кась, ребята, всыпьте этому гладенькому барчуку! Мы в колхозе хрип гнём день и ночь, в навозе по уши вожжаемся со скотиной, впроголодку перемогаемся, а он тама, в городе своём, книжки почитывает на государственный кошт. Гляньте, мясами оброс точно бык-производитель, френч партийный напялил!

Шнырявшему в темноте разоблачителю вторили, с азартом и весельцей, отовсюду:

– Получай, анжанерчик, получай, вшивая антялягенция!

– Ишь расфуфырилась, гнидюга городская!

– Чё там, ясно дело: мы быдло для него! Вжарьте ему, парни, чтоб помнил подольше про нас, забубённых варнаков!

– Эх, мать-перемать!

– По сопатке ему: пушай кровушкой умоется! А то ить под френчем и портками-то синяков не увидишь опосле!

– Дайте пырну!

– Ну, ну, полегше, паря!..

Уже и не понятно стало, за что били, почему лютовали. Похоже, вымещали на Афанасии обиды за все свои беды, за несладкую жизнь колхозную.

– Да вы пошто же нашего Афанасия колошматите, изверги рода человеческого? Самого Афанасия Ветрова! А ну кыш! – налетел из темнота какой-то рослый старичина с костылём, которым и принялся охаживать парней. Кого по спине, а кого и по голове приглубил. – Эй, кто-нить, скачка́ми дуйте за оперуполномоченным!

Услышали парни – отхлынули, стали расходиться, разбредаться в потёмки, в кусты, за заборы. Однако посмеивались, гоготали. Наверное, довольны были, убажены сполна: всё весело провели вечер, будет о чём посудачить потом. Но за что от души да яро лупцевали Афанасия – вспомняется ли?

Старик с костылём и ещё две бабушки, притащившиеся от своих дворов с керосиновыми лампами, помогли Афанасию подняться, отряхнули его, огладили ладонями. Кости, рёбра, кажется, не поломаны, глаза целы, хотя подзаплыли синяками. И голова не пробита, только что лицо изрядно умыто кровушкой. Потоптался – тут побаливает, там саднит. Сплюнул густо-кровоаво, отмахнул пренебрежительно кистью руки:

– Ладно, жить можно.

– Целёхонек? Вот и ладненько, – беспрерывно оглаживали и отряхивали пожилые люди, любившие Афанасия, помнившие его добро, бескорыстие, трудолюбие. – Уделали тебя, но до свадьбы, чай, заживёт. А на парней, дураков деревенских, слышь, не шибко злись: завидушние они, вот и отдубасили тебя. Жисть-то у нас тут, сам знашь, не жисть, а сущая каторга. А ты вона каким соколом нагрязнул в родные края, сытый да гладкий. Прости уж имя, а?

– Да я ничего! Бывает. Спасибо большое, люди добрые, что помогли. Поковылял я.

– С богом, Афанасьюшка, с богом, родимый.

Френч располосован, без единой пуговицы. Сорвал его с себя, утёр лицо и руки и забросил в кусты.

«Эх, Катя, Катенька, Катюша», – сдавленно вздохнул, не смоги разжать зубов.

Что ещё сказать, чем явить свою великую досаду и печаль – не знает. Лишь поматывается, как оглоушенный. Понимает: судьбу какой-то грубой, беспощадной и пока что ещё ему неведомой силой развернуло, перекособочило её рельсы. На каком таком паровозе ехать дальше? Окольными, а не магистральными путями отныне продвигаться? Но если и продвигаться, то – куда? Куда и зачем? Куда и зачем – без неё! Жить, мечтать, дышать, радоваться, горевать – многое, многое из того, что называется жизнью, без неё?

«Катя, Катенька...»

А – вслух:

– Уы-уы-уы-уы... – И уже не слова выпадают сквозь накрепко сдавленные зубы, а что-то утробно безобразное, страшное.

Однако кроме судьбы, понимает, есть ещё воля, его, Афанасия Ветрова, воля. Но – зачем, зачем ему воля без неё?

– Уы-уы-уы-уы...

Цепные псы незлобиво отзываются. Видимо, узнают какие-то родные отзвучья, докатившиеся из потёмок улицы.

Глава 22

В доме уже спали, только мать поджидала, при свечном огарке сидя с вязанием у окошка, в которое поминутно заглядывала.

Увидела вошедшего в горницу Афанасия – вскочила с табуретки, всплеснула руками, роняя клубок шерсти и спицы. Чуть не вскрикнула.

– Тсс, мама!

– Господи Боже мой, да кто же, сыночек, посмел?

– Пустяки. Поцапался с парнями. Бывает.

– Изнахратили, жиганы! Страшней германской войны учинили тебе бойню. Под суд мало отдать их! Говори, кто они такие? Я им живо кудлы повыдеру! – И, притопнув, даже рванулась к двери. – Говори!

– Тсс! Ишь развоевалась, – за руку перехватил её Афанасий. – Сам я виноват, мама: сдуру полез в драку. Вот и схлопотал. Так мне и надо

Жадно напился воды из ковши, сполоснул лицо и шею под рукомойником, выпрямился, сказал хотя и тихо, но чётко:

– Поехал я.

Мать так и подсекло – повалилась на табуретку.

– Пое-е-е-хал? Ещё не легкой! Сынок... сыночка...

– Да, мама, уезжаю. На стройку, на севера наши. Буду прокладывать дорогу, посёлок строить, а с октября – снова за учёбу. Комсомольская путёвка уже при мне. Запрыгну в товарняк и – ту-ту. Нечего мне теперь делать в Переяславке. Вот такой расклад! – Пошарив в кармане, протянул в горсти: – На деньжат: почините кровлю без меня, ещё чего по мелочам сработайте, а я... а я поехал. По-другому, кажись, нельзя.

Помолчав с прикушенной губой, повторил кратко и чеканно:

– Нельзя.

Мать всхлипнула, однако отговаривать не стала. Догадалась: Екатерина поступила *правильно*, как надо было. Видно, свадьбе не состояться. Что-то она ему такое важное сказала. «Слава Тебе, Господи, отвадила, – плакала и ликовала женщина. – Клятву сдержала. Прости, Катенька, прости, родненькая! Господь не обойдёт тебя, сиротинушку, милостями. Буду молиться за тебя. Чем смогу, помогу».

Афанасий натянул куртку-«хулиганку», напялил на голову восьмиуголочку, несоразмерным рывком взялся за свой огромный фанерный чемодан.

– Да ты чего, сыночка? Неужто прямо вот сейчас и отъедешь?

– И прямо, мама, отъеду, и не прямо, – усмехнулся, вздохнув, Афанасий и нежно приобнял мать свободной рукой. – Пора, пора. Пока темно – укачу, чтобы своей рожей не напугать честной переяславский народ.

Мать спешно набила холщёвую котомку провизией, какая попалась под руку. Вышли из дому. У калитки сын в привычном, стародавнем заведённом ритуале покорливо склонил голову – мать на прощание поцеловала его в лоб и перекрестила.

Сказала, отчего-то не посмев посмотреть сыну в глаза:

– Не крушись о былом, сыночка. Иди по жизни без оглядок: что было, то минуло безвозвратно, а чему бывать – того не миновать. Ты дюжий, ты сможешь.

Но он не дослушал – сорвался, прервал. Но прервал ни словом, ни жестом, а каким-то невнятным звучанием – то ли стоном, то ли рыком, то ли всхрипом.

– Афанасьюшка, сыночка, что с тобой?!

Он мутно посмотрел на мать.

– Пустяк. Скула побаливает. Пойду я.

Мать глубоко вобрала воздух, чтобы не разрыдаться.

Сын уходил быстро, не оборачиваясь, а мать вослед меленькой украдчивой щепоткой осеняла его путь.

За спиной зашуршала трава – муж подходил.

– Уехал?

– Уе-е-ехал.

– Слышал ваш разговор, да не стал встревать. А то, что уехал, может, оно и к лучшему. Перемелется – мука, глядишь, будет.

– Дай бог. – Помолчав, прибавила очень тихо, казалось, не желая, чтобы муж услышал и понял: – Дай Бог, чтоб мука, а не мұка... на всю жизнь.

Илья Иванович пристально посмотрел на жену. Что-то хотел сказать, но промолчал. Мужу, известно, негоже много говорить. Стал скручивать табак в газетный обрывок, да никак не получалось одной рукой, пальцы отчего-то не держали. Так и не прикурил; запихал кiset и газету в карман.

Мало-помалу светало. На мерклом востоке задрожала серенькая, с мертвечинкой лило-востии зорька. Афанасий остановился на седловине Бельского всхолмия, перед самым Московским трактом, по-современному – шоссе, полуобернулся – посмотрел сверху на Переяславку и Ангару. Славный родной переяславский мирок был многослойно оплетён и перепутан жилами тумана и дыма. Дым натаскивало с того берега, в дальнем потаёжье которого уже третью неделю хозяйничали на старых вырубках низовые пожары, то разгораясь, то пригасая. Неясно было видно даже ближайшие дворы и огороды. Однако Афанасий разглядел, скорее угадал, вспоминая сердцем, в черёмушнике возле Ангары пастушью избушку, в которой когда-то миловался с Екатериной. Поворотился спиной к селу, по-бычьи туго склонил голову и стремительно пошёл.

Однако почуял, да и краем своего охотничьего, пристрелянного глаза ухватил, – что-то произошло за спиной. Обернулся – и замер: это роскошным зеленцевато-голубым переливом вспыхнула река, по которой, пробившись через дали, дымы и туманы, юными бегунками промелькнули первые лучи нового дня. Сияние, однако, погасло. Но секунда-другая – оно вновь занялось, ещё роскошнее, ещё ярче, ещё искристей. И так несколько раз: погаснет – вспыхнет, погаснет – вспыхнет. Свет настойчиво пробивался к жизни. Река словно бы манила, торовато обещая свои красоты и просторы.

Афанасий нахмурился, но обмануть себя не смог – улыбнулся.

Ни машин, ни подвод на шоссе в столь ранний час, и Афанасий не стал поджидать форта. Перелесками и полями спрямляя и скорачивая путь, за час с небольшим своими широчеными шагами добрался до Тайтурки – ближайшей железнодорожной станции; здесь локомотивы с товарными вагонами частенько замедляли ход. Запрыгнул на тормозную площадку приостановившегося состава с пустыми, предназначенными для черемховского угля вагонами. До Черемхова добраться, а дальше как получится; можно до северов и на перекладных катить, – задором и отвагой молодости вспыхивало сердце.

Вскоре состав, оглушительно грохоча и скрежеща, летел по лесостепным немереным землям. Вихри свистали, в ключья рвало паровозный дым. День разгорался, раздвигая небо, ширя просторы. Афанасий всматривался в шаткие туманистые дали: через время и расстояния – какая она там, жизнь?

Глава 23

Говорят: время лечит. Боли ослабнут, а то и вовсе выветрятся. Но что же с ранами сердца? На живущем в полную силу, неуёмно пульсирующем – затянутся? А если и затянутся – не с надрывом ли работать ему всю последующую жизнь?

Афанасий своим неуклонным чередом и блестяще, как мечталось, закончил институт. Уже инженером работал на заводе, на том же – заводе драг, где его ещё студентом запомнили и полюбили как трудягу и умельца. Он оказался толковым, «башковитым» итээровцем, хотя вспыльчивым и упористым, однако люди склонны простить тому, кто горячится, настырничает по делу, для общественных, так сказать, надобностей, а не корысти ради. Он и теперь частенько брал в руки кувалду, гаечный ключ или бензорез, вливаясь в общее бригадное, цеховое дело, маракуя вместе с рабочими над каким-нибудь мудрёным узлом или агрегатом. Въедчиво прочитывал чертежи, по несколько раз перелистывал технические документационные талмуды, прежде чем дать добро на монтажные работы. Порой за столом, уткнувшись лбом в ворох чертежей и папок, и засыпал в своём кабинете; утречком уборщицы позвоноком вёдер и шуршанием швабр будили его. Уже через год вымахнул в мастера участка, и к нему даже старые рабочие, заводские зубры, и фронтовики стали обращаться «Афанасий Ильич» или даже «Ильич». Чуть ли не следом он был возведён в начальники хотя и не самого главного, но цеха. Получил комнату в коммуналке, но и полугода в ней не прожил – переселился, по благорасположенному ходатайству вышестоящего начальства перед завкомом, в однокомнатную квартиру. Подметили его и по партийной линии: выдвинули в комитет комсомола завода, а потом – городского района. Раз там выступил с трибуны, два – и народ кулуарно заговорил, что этот лобастый парниша готовенький-де секретарь райкома комсомола.

Может быть, вскоре и ходить бы Афанасию в секретарях, да однажды вспылил он в нечаянном – в перерыве пленарного заседания – споре с одним важным комсомольским функционером, который, театрально попыхивая трубкой, походя и небрежно назвал колхозников бездельниками и выпивохами. Сказал, пустил завитки дыма и – о чём-то другом заговорил. Однако Афанасий, побледневший, по-борцовски принагнувшийся, прервал его:

– Давим деревню налогами, по шестисот и более рубликов сдираем со двора. Требуем покупать облигации на последние копейки, а к чёрту они надобны колхознику – не спрашиваем. Тут не только запьёшь – волком завоешь. Как крепостной он, наш колхозничек, даже паспорта не имеет. Трудодни стали той же повинностью, что и при царях. А насчёт бездельников – врёшь, братишка!

– Чего, чего-о-о? Знай, с кем говоришь, молокосос! Я в Сталинграде кровушкой умылся.

– Свою холёную рожу, что ли, умыл? Чего ты нам несёшь про Сталинград? Знаем, по тылам отсиживался, в интендантках ряху наедал.

– Да у меня медали, орден, два ранения! Ты на кого прёшь, падла?

Слово за слово – за грудки сграбастали друг друга. Оба крепкие, но молодой, рослый Афанасий наверняка одолел бы, да вмешались, нависли на руках и спине. Еле-еле разняли, растащили, совестили обоих. Особенно перепало Афанасию: на фронтовика, хотя бы и интенданта, с кулаками полез – святотатство.

Дня через два повесткой Афанасия вызвали в органы. Ясно: донесли. Досадовал, минутами сердился до ярости, ночь глаз не сомкнул – казнился и каялся: поступил глупо, опрометчиво, как пацан. Но мог ли тогда совладать с собой? – спрашивал себя, когда утром брёл к дознавателю. Наверное, нет. Что тогда произошло с ним? Всколыхнулась в груди обида за родное село, за земляков, за мать с отцом. В голове забурило, отчаянная храбрость в мгновение опьянила и вспенила кровь – бросился, как в бою, защищать то, что было дорогим и сокровенным.

Молодцеватый, пощёлкивающий мясистыми рыжеволосыми пальцами дознаватель подбрасывал каверзные вопросы, казалось, тешился и насмешничал:

– Значит, гражданин Ветров, советские колхозники всё одно что крепостные, повинность отбывают? А кто же, позвольте полюбопытствовать, барин у них? Ась? Барин-то, спрашиваю, кто?

И скосил колко смеющиеся глаза – очевидно не без злокозненности подсказывая – на портрет Сталина.

– Кто?

Афанасий, сомкнув зубы, молчал. Он испугался: намотают срок или – расстреляют. Могут вменить антисоветскую пропаганду. Могут и шпионом объявить. Слыхивал от людей сведущих, хлебнувших лиха: меньше скажешь, а лучше, ничего не подпишешь и ничего не скажешь, авось поменьше дадут, не расстреляют. А потому – молчать.

– Говорить, собачий сын! Кто барин?

Понял: если примутся бить, то в ответ саданёт так, что мало не покажется. В голове снова забурлило, кровь в жилах вспенивалась, но ещё мог оценить: пропадают!

Однако бить не стали. Ещё подбросили два-три вопроса, покричали с постуками кулаком по столу. Молчком настроили протокол, подпихнули для подписи.

Афанасию противно, что страх неотступен. Выходит, трусом оказался, размазнёй. И, возможно, чтобы самому себе доказать, что не малодушный, не трус, расписался в протоколе не читая. Был уверен, немедленно арестуют. Наручники, конвоиры, камера, баланда, параша, произвол уголовников – насышан. Начнётся у него совсем другая жизнь – тюрьмы, этапы, лагеря. Позор, ужас, крест на всей жизни.

Но снова случилось нечто невероятное – не арестовали. Выписали разовый пропуск, насмешливо заглядывая в глаза, отпустили восвояси. Полюбопытствовали напоследок:

– В штанах-то сухо, вояка?

На внеочередном, спешно созванном заседании районного комитета комсомола снова стыдили, но не за крамольные слова, о них почему-то и не вспомнили, – за драку. Потом дали слово. Вышел к трибуне, сказал, обратившись к обиженному интенданту, «извините», и – более ни слова, ни жеста, ни взгляда. Сел на своё место и окаменел. Боялся только одного – чтобы из комсомола не выгнали. И опять случилось нечто невероятное, можно сказать, чудо – не выгнали.

Думал, что с завода-то непременно выставят. Однако по работе и вовсе никак не тронули. Может быть, потому, гадал, что итээровцев нехватка великая.

Неделю, другую жил мрачно, молчаливо, ежеминутно ожидая: вызовут, арестуют, а то и прямо в цех нагрянут, скрутят руки, согнут в три погибели, под конвоем уволокут. Поистине позор выйдет. Что потом будут думать люди? Позлословят, наверное: ишь, скажут, прикрывался простачком враг народа, не иначе как завод хотел взорвать, советскую власть погубить.

Ничего такого, однако, не случилось – не нагрянули, не скрутили, не увели под конвоем. Но вызвали в партком завода, к секретарю Смагину Ивану Николаевичу.

– Говори, сорванец, спасибо: спас я тебя, – хмуро-радостно встретил Смагин Афанасия в своём кабинете. – Брательник мой двоюродный, Сева Шелгунов, в органах служит, – вмешался, шепнул, кому следует. Особисты припугнули тебя для начала, так, чтоб прочистить мозги, но если чего ещё учудишь – пропадёшь, дурило. Ой, пропадёшь! На Колыме тоже нужны инженеры. – Помолчав, сказал с ласковой укоризной и переходя на привычное в их общении имя-отчество: – Со мной-то, Афанасий Ильич, не мог поговорить по этому чёртовому крестьянскому вопросу? Поговорили, поспорили бы, – глядишь, душой ослабнул бы, и не накидывался бы на людей, тем более на фронтовиков.

Понятно Афанасию – чудес не было: хороший влиятельный человек вовремя вступился, выручил.

– Правильно, правильно, Иван Николаевич: дурило я, – удручённо раскачивал головой Афанасий, согнувшись на стуле. – Обидно стало – сорвался, не совладал с собою. Но говорю вам: не знает и не любит этот надушенный интендантск деревню! Эх, да чего уж теперь толковать! Спасибо, Иван Николаевич, спасибо. По гроб жизни, как говорится...

– Ну, ну, полегче! Высокие слова побереги для митингов и собраний, – добродушно посмеивался Смагин. – Смена закончилась, а посему давай-ка, правдоруб ты наш дорогой, лучше чайком побалуемся да о том о сём покалякаем.

Со Смагиным Афанасий был, можно сказать, в приятельских отношениях, хотя Смагин годился тому в отцы. Они и внешне различествовали: Афанасий – богатырь, розовощёкий детинушка, Смагин же – приземистый и сутулый до горбунства, сер и высосан лицом сурового, аскетичного монаха. Афанасий – общительный, боевитый, Смагин – малоречивый, насторожённый. За глаза его величали Ваня Ёж. Ежеватость его обличью придавали и его замечательные, чрезвычайно приметные усы – этакий комок длинных, почти прямых иголок, которые, однако, по какой-то прихоти не желали расти в каком-нибудь одном направлении, а дыбились, как для защиты или нападения, в разные стороны: мол, и отсюда, и оттуда меня не возьмёте.

Что же могло связывать и притягивать друг к другу столь разных людей? Они оба были страстными спорщиками, большими любителями подискутировать, «о том о сём покалякать». На этом интересе, можно сказать, даже пристрастии, начиная ещё со студенческих лет Афанасия, младой и старой незаметно и породнились душами. И в своих бессчётных, порой страстно непримиримых спорах-разговорах бывали друг перед другом настолько откровенными, распахнутыми, что никого третьего нельзя было и предположить рядом с ними. Оба равно понимали: только ему я и могу довериться.

О чём говорили, о чём спорили? О том, что на ум приходило. То Смагин в конце рабочего дня заглянет в кабинет своего молодого друга, то Афанасий, тоже в конце смены, зайдёт к Смагину. На стол неизменно – чай и нехитрые припасы, и чаёвничанье затягивалось подчас до ночи, а то и до зари, до заводского гудка. Нередко заночёвывали в своих кабинетах. Афанасий – понятно: холостой, и хотя есть куда спешить, да – не к кому.

Про Смагина судачили, что жена, законная жена, у него была, однако он с ней уже лет десять не жил. Сам он про себя, про свою личную жизнь никогда и никому, даже Афанасию, ничего не рассказывал, но народ поговаривал, что прогнал он жену, изменницу, выставив чемодан с её вещами на лестничную площадку. Слышали соседи, как ревела, причитала она, умоляя о пощаде, винясь, и, кажется, даже опустилась перед ним на колени. Однако Смагин холодно, но в хрипатой придушенности голоса приговаривал:

– Суке сучья жизнь.

Выгнать выгнал, но не развёлся с ней; возможно, потому, что по партийной линии не похвалили бы. Детей, двух дочерей, они поделили: с ним осталась старшая, Людмила, а младшую, Веру, забрала жена. Поговаривали и о том, что с женой он и раньше обходился не очень-то ласково и милостиво, не баловал подарками, а приучал к скромной, воздержанной жизни, неотступчиво и твёрдо напоминал ей:

– Построим, жёнушка, коммунизм – после уж пошikuем.

Но женщине, видимо, хотелось теперь «пошиковать», пожить всласть, пользуясь немалым положением мужа. В отчаянии – злословили – и кинулась она в объятия своего коллеги. Но что в этой истории правда, а что вымысел и напраслина, – могли, наверное, сказать только сами супруги Смагины. Однако она с дочерью вскоре уехала к родственникам в соседнюю область и где-то там затерялась; Смагин её судьбой не интересовался, и хотя переписывался с Верой, но о матери не справлялся.

Смагин бывал предельно и нещадно крутым в своих решениях. Его считали максималистом. Сам он никому и ничего о своих непростых личных обстоятельствах не говорил, не

пояснял. Его же молодой друг хотя и был наслышан о многом и всяческом, в душу, однако, не лез, к тому же «покалякать» они любили совсем о иных материях – о *больших* вопросах жизни.

Глава 24

Людмила иногда приходила на завод к отцу, припозднившемуся за беседой с Афанасием, и ласково упрекала его:

– Папа! Как так можно: сидишь без ужина, пробавляешься чайком и пряничками. Наверное, и пообедать забыл? Живёшь монах монахом, впроголодь. Исхудал – страсть! Постишься, что ли?

– Сытый коммунизм строить не будет, – снисходительно усмехался Смагин ёжиком своих замечательных усов.

– Но и голодный немного совершит, а то и не дотянет до финиша, – мягко увещевала дочь.

– У коммунизма не может быть финиша: он на все времена, – наставительно произносил Смагин.

– Конечно, конечно, папа, – охотно соглашалась дочь.

Вынимала из авоськи кульки и кастрюльки с провизией – принималась потчевать отца.

Робко приглашала к столу Афанасия. Встречаясь с ним глазами – сбивалась, пунцовела. Афанасий тоже отчего-то волновался в её присутствии, становился каким-то молчаливым, неловким, даже несмелым.

Иван Николаевич с неестественно хмурой улыбкой поглядывал на обоих, но ничего не говорил, потому что сказать-то, по-видимому, следовало было вот что: да не влюбились ли вы друг в друга, друзья мои ситцевые? Отец боготворил дочь и какой более лучшей партии для неё, засидевшейся в невестах, он мог бы пожелать, кроме как Афанасия, – «умняги мѳлодца», хвалил он его где доводилось, «геркулеса», «да к тому же трезвенника», «да уже кандидата в члены партии»?

Но нравилась ли Афанасию Людмила?

С некоторых пор он стал присматриваться к ней.

Выстораживал взглядом её серенькие с жидкой голубинкой добрые глаза. Но – ни на миг не забывались ни рассудком, ни сердцем другие глаза – её глаза, невозможные, чародейные: светлые, лучащиеся чёрным глубинным огнём, который то вспыхнет, то пригаснет.

Украдкой оглядывал мягкую, женственно полноватую и, казалось ему, без единой косточки, без единого острого угла-выступа фигуру Людмилы. Но – тревожил и манил лишь её стан: с осиной талией, с нервной изгибистой спиной, с повитью тонких подвижных косточек, выпирающих под одеждой. Вся вроде бы и лёгкая, вот-вот, нередко представлялось Афанасию, вспархнёт, взовьётся к выси, однако руки его помнили её тело – неуступчивое, если что не по ней, сильное, работающее. Видел: Екатерина и дрова колола, и доски ворочала, и огород лопатой вскапывала, и вёдрами воду носила, да и кому ещё, если семья – три женщины.

Вслушивался в голос Людмилы, который в своём врождённом пришипетывании сладко-звучно журчал, вливая в душу собеседника успокоение, даже порождая какое-то состояние неги, умиротворения. Но – в Афанасии жил, явственно и полно звуча в памяти, её голос – редко не напряжённый, какой-то неявный, неопределяемый, едва затрагивал воздух – и пропадал.

Смотрел на кудряшки белокуреньких, неизменно ухоженных волос Людмилы; в её причёсках – изящество, но и скромность, мера, вкус. Однако – тотчас являла память тугой змеёй – как, возможно, для броска – свисающую с плеча косу, её косу, толше, величавее которой он ещё не встречал. Видел, какая вокруг господствовала мода: обкорнайся, завейся на бигуди, а потом изображай из себя перед мужчинами наивную овечку.

«Что они все понимают в моде, в красоте! Несчастные мещанки».

«Людмила, Людмила!.. Какая она, эта Людмила?»

Но хотя и спрашивал себя, ответ, однако, для него был очевидным: она понятная, она простая, она правильная. И, наверное, на годы и годы вперёд – и понятная, и простая, и правильная. Возможно, так и должно быть, чтобы чувствовать себя совершенно счастливым. Хотя кто ответит, что такое счастье, что такое совершенство?

А – какая *она*? Какая? С детства знает её, но всё одно спрашивает себя: какая она? Не находилось верных слов, вместилильных определений: то они представлялись слабыми, незначительными, недотягивающими до его чувств и догадок, то низкими, грубоватыми, а значит, и вовсе ошибочными, даже ложными. Так – какая же она?

Людмила, перебирал и итожил он в себе, несомненно, хороша собой, всевозможно положительная девушка – умная, образованная, скромная, доброжелательная. И профессия у неё приличная, что там – прекрасная, романтическая профессия: преподаватель игры на пианино в областном музыкальном училище. Разумом понятно Афанасию: нужно определяться в личной жизни, в кого-нибудь – в Людмилу, разумеется, – наконец-то, влюбиться, а потом вить вместе с нею какое-нибудь гнездо тихого совместного счастья. Однако что же сотворить такое со своим сердцем: оно, упрямое, несговорчивое, живёт и мучится *ею*? Как ублажить, а может быть, и обмануть его?

Глава 25

Ещё учась в институте, Афанасий наезживал в Переяславку и высматривал, а то и выслеживал Екатерину. Она заочно училась в Иркутске на библиотечного работника, с фермы перебрасалась в поселковую библиотеку, и он на улице или в библиотеке заговаривал с нею. Она же, склоняясь глазами, отмахиваясь, молчком старалась быстрее скрыться, кликала на подмогу напарницу по библиотеке, а то и бежала от Афанасия, если встретиться выдавалось на улице, на безлюдье.

Иногда выкрикивал вслед:

– Не хочешь – не надо! Подумаешь!

А как-то раз, у изрядно выпившего, сорвалось камнем:

– Дура-баба! – И кулаком хватил по подвернувшейся изгороди, – хрустнуло и надломилось прясло.

На танцах в клубе подпаивал парней и с мрачным высокомерием выводил у них: как она живёт, с кем встречается? Отвечали настороженно, памятуя о горячечном норове земляка: ни с кем не замечена, сидит за книжками. И путь-дорожка у неё, похоже, неизменная: дом – библиотека, библиотека – дом. Иногда, правда, ездит в ближайшую действующую, тельминскую, церковь, но тишком: комсомолка, надо понимать. Он сумрачно всматривался в глаза парней: врут, не врут, трусят сказать как есть на самом деле? По всей видимости, и не ввали, и не так чтобы трусили.

В Иркутске несколько раз подкараулил её во время обязательных для заочников летней и зимней сессии, когда студенты на неделю-другую съезжались в институт для прослушивания лекций и сдачи зачётов и экзаменов. Заговорит с нею, но она не слушает – отвернётся, а то и отпрянет, оттолкнёт его, если рукам волю давал. Случалось, и побежит прочь. По городу не гнался за ней: что подумают люди? Да и настигнешь если – что получишь?

Но как-то раз нагнал:

– Катя, Катенька, Катюша, любимая, давай поговорим! Чего ты дичишься да сигаешь от меня, точно заяц от волка?

А она, обернувшись стремительно, вспыхнула молнией:

– Уйди, окаянный!

Накрепко запомнились, будто ввелись в мозг, её глаза – клокочущая чёрная смола. И не светились, как раньше в юности, – лишь только жгли и карали жаром.

После вёл долгие и тягучие разговоры со своим сердцем:

«Окаянным назвала?»

«Значит, ненавидит?»

«У-у, и я ненавижу её! Ненавижу, ненавижу!»

«Всю жизнь мою порушила! Дура, дура!»

Однако остынет мало-мало, другие мысли подхлынут и повлекут:

«Она ли одна порушила? А я что же?»

«Конечно, хорош гусь. Но не век же маяться да каяться?! Жить надо! А, люди?»

«Нет: забыть, забыть её! И жить по-новому. Притвориться: не знал её раньше и нет у нас одной родины – Переяславки!»

«Забы-ы-ть?»

«Дурило! Разве только что взять мне да вырвать из груди моё сердце. Да нового-то ни у кого не займёшь и не вошьёшь потом».

«Эх, но что же, братцы, делать, как жить, куда девать мою тоску-маету?» – не затихало с годами его сердце.

И жизнь, творившаяся вокруг, вклинивалась в его судьбу своими негласными, но неумолимыми законами и установлениями. Тривиальное, но неотвратимое, – ему, молодому, здоровому, случалось тяжело без женщины. Да и куда ни глянь – женщины, женщины. Молоденькие хорошенькие женщины, несущие в себе всяческие соблазны. Так и зыркают на него, так и ластятся взорами, так и втираются, ввязывают в свои извечные игрища! И он конечно же не выдерживал, как ни крепка была его любовь к Екатерине, как ни чисто было его сердце: мимоходом, полушутейно приласкает какую, потом залучит к себе на ночьку, на другую, ещё на одну. И она, бывало, уже примется обвыкаться рядом с ним, прилепляться с того, с другого боку. Он две, три, четыре встречи выдержит, потом подступит понимание – воротит его душу: не то, не та. А выдавалось, что и чувство брезгливости бралось одолевать, точка совесть, – и он прогонял ни в чём не повинную женщину, если она сама не понимала, что пора, уже пора, уйти самой из его жизни.

«На Людмиле жениться, что ли?» – однажды подумал в отчаянии и озлоблении, отвадив очередную, как он называл их в себе, «липучку».

«Опрятная, чистая, умная девушка – чем не жёнка будет? Тихо заживём, ладом. Семьёй».

«Не надо будет рыскать мне, как кобелю, который сорвался с цепи».

«Эх, жизнь! Тоска и беспроглядье».

Во время одного привычно запозднившегося почаявничанья в кабинете Смагина, воспользовавшись минуткой, когда, впервые, остались вдвоём, во внезапном тет-а-тет, с вероломно навалившейся сипотой в горле Афанасий невнятно проговорил:

– Может... в кино... Людмила Ивановна... сходим? А то всё чаи да чаи.

Она вся вспыхнула, зарделась, но посмотрела в его глаза открыто, даже пытливо и сказала хотя и природно тихо, но отчётливо:

– В «Ударнике», Афанасий Ильич, показывают, слышала, «Садко».

– Это про того былинного Садко, который искал в дальних землях птицу счастья? Что ж, пойдёмте и мы чего-нибудь поищем. Вместе с ним, – вымученно улыбнулся он стянувшейся щекой, пребывая в прежнем состоянии нетвёрдости и напряжения. – Завтра жду вас у кино-театра на последний сеанс.

Вошёл в кабинет Смагин, искромётным полвзглядом посмотрел на дочь, полыхающую, уткнувшую глаза в пол, – догадался, что произошло между молодыми людьми. Грубовато кашлянул в кулак, волосато-игольчато схмурился и бровями и усами, очевидно упрятывая и, возможно, оберегая свою радость.

После кино Афанасий проводил свою тихую, затаённую даму до дома, перед дверью подъезда попридержал за локоток. Она низово и робко, но с откровенным поджиданием заглянула в его глаза. И он хотел было уже привлечь её к себе, поцеловать и даже сказать как-нибудь так: «А неплохо было бы, Людмила Ивановна, если бы мы с вами поженились». И фразу эту, легко-весную, игривую, услышанную им в каком-то кино, уже давно обдумал, обточил в голове и даже перед зеркалом вроде как декламировал. Но – промолчал. Отпустил локоток. И не поцеловал.

Несколько дней во всём его существе беспрестанно отстукивало, как в громоздких с гирями часах, а в голове – одно по-одному, и так и этак перевёртываясь, блуждая:

– Ещё разок попытать судьбу? Сходить к ней? А вдруг... а вдруг...

Глава 26

Знал, что, закончив институт, Екатерина перебралась в Иркутск, приткнулась в комнате общежития городского отдела культуры; работала в библиотеке. Догадывался: в Переяславке не осталась, потому что в деревне невозможно спрятаться от людей, сокрыть свою тяжкую неизбывную печаль; одинокая там, тем более молодая, – всё равно что шалая, юродивая. А в городе – растворяешься среди многих и многих и становишься незаметен, невиден, таким, как все, и горем ты живёшь здесь или радостью – кому интересно, кто спросит, кто поймёт так, как надо бы? Пока разберутся, кто да что ты, – глядишь, и жизнь пройдёт. Конечно, лучше матери никому не понять, но ведь и ей каждый день терзаться, видя свою неутешную, не такую как все дочь.

«А может, уехала, чтобы поближе ко мне быть?» – всполохнёт в Афанасии. Но надежда не разгорится, и мечты пригаснут.

Пришёл к ней в непроглядных потёмках октябрьского предночного вечера. Столь поздно явиться единственно и мог: цеховой начальник раньше восьми вырваться не мог с завода, а ещё – общественные обязанности, всевозможные комиссии, комитеты, советы, завкомы, горкомы; домой прибредал нередко за полночь. А то и вовсе не шёл в свою одинокую, пустынную квартиру: до утра притулится в кабинете на диванчике или же со Смагиным прокоротает время в спорах-разговорах.

Вымок под сырым липким снегом с мозглым ветром. С пальто и шляпы текло, когда стоял перед Екатериной, приоткрывшей на его перебивчатый, скорее, скребущий стук в дверь.

Она, не вступая в разговор, хотела было захлопнуть её, но он попросил:

– Давай поговорим, Катенька. В последний раз.

– В последний раз? – с пристальной – зачем-то – прищуркой посмотрела она, но не в его глаза и лицо – мимо, во тьму пещерно гулкого, с выкрученными лампочками общежитиевского коридора. – Что ж, зайди.

Вполшага вошёл, отчего-то низко пригнувшись в довольно высоком дверном проёме, плотно-туго, но тихо закрыл дверь и сразу сказал, сторожа глазами её нелюдимо замкнутый для него взгляд:

– Выходи за меня замуж. Замаялся я без тебя. Не могу так дальше.

Она с ходу ответила, всё не даваясь ему глазами:

– Нет, не будем мы с тобой вместе. Никогда. На том и разговор закончим. – Распахнула дверь: – Ступай. С богом.

– Хм, «с богом». «Ступай». Каким-то непонятным языком говоришь. Несоветским, что ли, – вкось, горделивый, усмехнулся он, стремительно, однако, тяжелея душой, что даже ноги, показалось ему, перестали крепко держать. Опустился на первую попавшуюся табуретку, стянул с головы шляпу, жестоко скомкал её в кулаках.

– Как живу, так и говорю. Иди, иди, Афанасий.

– Да погоди ты гнать меня. А ещё землячка!

Слова его грубили, но голос молил.

Она, вроде как участливо, полуобернулась к нему лицом, и он наконец полно увидел её глаза. Глаза, которые он любил и боялся одновременно.

Тогда, юношей, после жути у повитухи Пелагеи, в глазах страдающей Екатерины он с оторопью разглядел зияющие глубины, из которых тяжело, вязко выбивались холодные заострённые лучи, и он догадался: перед ним уже не прежняя его Катя, Катенька, Катюша, девочка, молоденькая девушка с ласковым и родным светом глаз, а какой-то другой человек – взрослый, поживший и, возможно, уже посторонний.

Но надежда в нём ещё не была тогда поражена: ему показалось – обошлось. А если обошлось, то авось уладится, утрясётся, и жизнь потом снова будет одарять его приятным общением с его возлюбленной.

И какое-то время так и было.

Однако сейчас, на очевидном и неумолимом изломе судьбы, он прочитал в её глазах чудовищно несправедливую, как приговор, правду их пересечённых судеб: мы не будем вместе. Никогда. И этот приговор может оказаться пожизненным. Нет, её взгляд не был суровым, беспощадным, он не был злым, он не был взором судьи, но он был – далёким, далёким. Бесконечно, бесконечно далёким.

Афанасию даже показалось, что не в глаза он смотрит, а каким-то чудодейственным образом заглядывает в иные пространства или даже миры, но тёмные, беспросветные, совершенно непонятные ему. И душу его стало прихватывать, как морозом, томительное чувство.

«Напьюсь. И кому-нибудь в морду дам».

Он не выдержал её взгляда, хотя смотрели они друг другу в глаза какие-то мгновения. Потупился, удручённый, ошеломлённый, если не убитый. В окоченевших кулаках – ужасно скомканная, только что не растерзанная шляпа, которой, похоже, уже никогда не быть головным убором.

– Смогу ли я без тебя, – спросил, не спросил он вздрогнувшим, но омертвелым голосом.

Она промолчала. Может быть, и не расслышала. Или же не хотела слышать и слушать. Молчала, отвернувшись, плотно укутавшись шалью.

Возможно, чтобы что-то сказать – сказал:

– В какой, Катя, странной комнате ты живёшь. Как в келье. Что, в монахини надумала?

В крохотной, тускло освещённой комнатке приземистый, вычерненный временем и переездами шифоньер, аккуратно, преимущественно белым застеленная металлическая кровать, две некрашенные табуретки и столик, то и другое довольно грубой работы. А в углу – маленькая иконка с мерцающей лампадкой. На прикроватной табуретке стопкой лежало несколько книг. Ветров взял одну, верхнюю. Библия.

– Катюша, ты что же, в эту... чепуху... веришь?

– В чепуху? – бесцветно, без малейшего вызова отозвалась она, однако взяла у него Библию и стала что-то на её страницах искать.

Тончайшая, папиросная, бумага хотя и тихо, но как-то многоголосо, какой-то разнообразной звуковой гаммой шелестела в маленьких ловких пальцах, словно бы, опережая событие, что-то уже говорила, сообщала.

Нашла – заволновалась, взглядом быстрым, но кротким притянула внимание мрачного, как туча, Афанасия.

– Что ты там, Катя, зачем? Можешь не читать мне. Глупости. Опиум! На том стоял и буду стоять. А ты от безнадеги рванула в религию: я, бедовая голова, виноват. Но я искуплю свой грех... у-у-у!.. как по-другому сказать?... проступок. Я помогу тебе. Жизнь наша устроится. Поверь. – Помолчал. – *Мне* поверь. – И следом выкрикнул: – Мне, мне поверь!

– Не шуми. Люди уже спят.

Стала читать вслух:

– «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты всё можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, зывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».

Замолчала. Царила тишина, даже гулы коридора, и ночью не замолкающие, хорошо знал Афанасий, вдруг затихли, притаились.

И, может быть, весь свет прислушивался к этой комнатке.

Тихо, но отчётливо спросила:

– Ты понимаешь меня?

– Нет, – сдавленно ответил он и, повалившись с табуретки на колени и проползая на них, за талию привлёк к себе Екатерину: – Стань моей женой. Я умоляю тебя! Мне нужна только лишь ты. Мне всегда нужна была только ты. Не мучай ты меня! Да, я виноват перед тобой. Да, да, да! Но ведь людям свойственно прощать. Ну, скажи доброе слово. Доброе, а не это дурацкое поповское!

Екатерина легонько, с какой-то предупредительной деликатностью, но достаточно твёрдо освободилась из его сильных, упрямых рук и стала про себя читать Библию, живо просматривая и, похоже, не находя, что искала.

– Что, заново будешь читать мне христовенькие бредни?

Афанасий по-стариковски медленно, сутуло поднялся с пола, однако тут же навис горой над Екатериной, почти что угрожая ей.

– Хватит дразнить судьбу, надо жить, Катя, вместе жить, строить и укреплять семью.

Глава 27

Намеревался что-то ещё сказать, призывая с высоты своего роста, однако Екатерина нашла в Библии, что искала:

– «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, – высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя... Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это... В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!.. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнущаться восставшими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Екатерина замолчала, но листала Библию, напряжённо и бдительно. Афанасий, снова усевшись на табуретку и словно бы ища себе занятие, упёрся взглядом в крашенный, но изрядно испарапанный пол, казалось, что-то вычитывая в этих грубых, но замысловатых и причудливых росчерках когда-то, по всей видимости, непростой жизни этой комнаты. Мрачно-тяжело отвёл глаза от пола, коротко, но пристально взглянул на Екатерину, всё листавшую Библию, – вздохнул вполгруды, сложил руки вдоль колен, уставил взгляд в стену и, как сфинкс, стал неподвижен.

Нашла наконец и ровно, без особого выражения и даже тише гораздо, чем недавно, прочитала, очевидно полагаясь лишь на силу слов:

– «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаёте, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он даёт сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».

Стремительно пролистала десятка два страниц:

– «Расстроивающий дом свой получит в удел ветер...»

– Хватит!

– Я прочитала всё, что хотела.

– Ты эгоистичная! Жестокая! С каким наслаждением ты прочитала последние слова! Как приговор! Ты хочешь наказать меня за то, что я погубил твою молодость, за то, что у тебя нет и не будет детей, за то, что ты без мужа, без семьи, одинока и несчастна! Да?! Да-а-а! Можешь считать, что ты меня наказала, казнила, уничтожила и растёрла! Радуйся! Аллилуйя!

– Мы сами себя наказали.

– Да, да, да: я сам себя наказал! И теперь мне, Ветрову, как ты великодушно сообщила только что, достался в удел ветер. Вот и буду летать, вот и буду себя губить. Тебе – легче – станет? Ты – воз-ра-ду-ешь-ся?

– Тебе, Афанасий, пора домой. Уже поздно.

Она медленно, как, наверное, случается в сомнениях и неуверенности, но довольно широко отворила дверь.

– Выпроваживаешь, точно бы мусор выметаешь. Что ж, прощай! Будем жить каждый сам по себе.

Вышел порывом, весь в пылу, в огне. Она тихонько закрыла за ним дверь, может статься, побаивалась, что любой посторонний звук или жест могут что-то такое чрезвычайно важное для неё нарушить – и в ней самой, и вокруг, и, возможно, в Афанасии, таком взрывном, безудержном.

Слышал, как опустила – и догадался, что с осторожной медленностью, – крючок.

Крепко-крепко зажмурился. Зубы слились, спаялись во что-то цельное.

Стоял возле двери, спиной к ней, не сдвигался. Только что объятый пылом, огнём возмущения, мятежа, быть может, мести, – за какие-то мгновения выхолодился, омертвел. Стоял и не знал: домой ли, на завод ли идти-брести? Или – куда-нибудь ещё? Но – куда, зачем? Где найдёт он утешение или забвение? Может быть, напиться? Напиться страшно и подраться с кем-нибудь. Да так подраться, чтоб избили скопом, отдубасили до потери сознания и чувств, а может – и убили бы. Да где же в столь поздний – а может быть, уже и ранний, не понимал он времени, – час отыскать водку или каких-нибудь кутил и забияк? И в общежитии не слышно гуляющих компашек – спит трудовой народ, почивает благоверно.

Вдруг стал различать в тяжело погудывающей тиши коридора:

– ...но не прошу, Господи, для себя: и так Твоя милость ко мне безмерна. Но прошу за него: направь путь его к истине, наполни дом его радостью и детьми. Укрой его от замыслов коварных. Избавь его от врагов его, Боже мой. Дай ему дом, а я буду радоваться его радостям. Не оставь его, Господи!..

«У-у, дуры бабы! – выругался про себя и потрясённый, и растроганный, и возмущённый Афанасий. – Стоит, наверное, перед иконой на коленях, молится, как выжившая из ума старуха. Эх, по глупости губит и себя и меня!»

Выбрел потёмками коридора на улицу. И – куда, куда же шагать? Стоял на крыльце. Но зачем стоял – не понимал, и сколько простоял – тоже не понимал. Не понимал хорошенько, забыв как что-то такое незначашее, и того, что город всё ещё объят непогодой: ветер нахлестывается из сумерек в лицо сырым, липучим снегом, дождём, стынью – всякой мерзостью тьмы. Не понимал, что шляпа в руке, и смята она в комок такой, что только и отстаётся – выбросить её.

Наконец, разжал кулак – упала шляпа. Так, но что ещё, что ещё он может, что ещё он в силах сделать, совершить?

Однако не вечно же стоять: надо, в конце концов, действительно что-то делать, куда-то идти. Что ж, идти так идти, – это, кажется, самое простое, самое доступное и понятное. Можно, наверное, прямо пошагать, куда глаза глядят.

Пошёл, прямо пошёл, хорошо, препятствий не оказалось на пути. Не сразу осознал – шёл на завод. Да и куда ещё ему пойти было? Не в квартиру же свою, в её постылую пустоту и одинокость.

Шёл, шёл, но дорогу не понимал, хотя и видел её: лужа – так в лужу ступал, проваливаясь по щиколотку, а то и выше, навал мусора или щебня – напрямки через них, низко свисающие ветви встречались – сквозь продирался, не сгибаясь, не уворачиваясь, оцарапывая лицо и голову. В ботинках хлюпало, широкие, насквозь намокшие гачи брюк облепила грязь. Голова, глаза забиты снегом. Порой вслепую, чутьём шёл, как зверь или охотник.

– Стой, кто идёт! Чиво прёшь танком? Стой, тебе говорят! Стрелять буду!

Дуло винтовки упёрлось в грудь.

«Вот и смертынька», – подумал азартно.

– Тыфу, бес попутал! Вы, ли чё ли, Афанась Илич? Снегом облеплены, в грязюке весь – прошу прощеньца: не признал, – вытянулся перед ним вахтёр, вывший фронтовик, лупоглазо всматриваясь в высокое начальство.

Афанасий не сразу сообразил, куда попал. Кажется, проходная завода, – вот и добро. Плохо, что не стрельнул, а так бы – пропади она, жизнь, пропадом.

– А-а, здорово, Николаич, – пробормотал Афанасий, досадливо вспоминая своё высокое положение и осозная, что вид у него и в самом деле неподобающий.

Как и всем всегда, протянул вахтёру руку.

– Здравия жалаю, Афанась Илич! – гаркнул вахтёр, пришёлкнув каблуками сапог, и с чуть ли не прямоугольным наклоном своего долговязого тулова пожал руку большого начальника. – Чиво-та ранёхонько вы, Афанась Илич.

– Ранёхонько, позднёхонько, Николаич, – всё теперь едино.

– Ась? – угодливо принаставился ухом старый, минным осколком раненный в голову служака.

Афанасий отмахнулся, однако радовался этой хотя и внезапной, но встряхивающей перемене событий и ощущений. Стремительным шагом – к цеху: чтоб окунуться в его металлические грохоты и электро- и газосварочные вспышки с брызгами искр, в людские гомоны и беготню, и чтоб там – забыть, забыть её быстрее, а то и – навсегда, навечно, коли ничего уже нельзя выправить.

Заходя в цех, полуобернулся назад, как будто на чей-то зов. Заметил через плечо – на востоке вздрогнул блёклый огонёк зари. «Скоро день, скоро день...» – подумалось многократным эхом. Возможно, сам себя убеждал, что дню, свету, солнцу непременно бывать. Если же дню бывать – случиться и переменам. А если перемен не минуть – не может не посетить твоего сердца и надежда.

«Скоро день... день... день...» – ещё какое-то время колокольню прокатывалось в его голове. Но потёк в кабинет народ, зашуршали расстилаемые чертежи, задымили беломорины и самокрутки, и мысль-эхо сбилась, сгасла в нарастающей сутолоке нового дня. Душа скинула удавку, вздохнула и распрямилась.

«Будем жить, а чего остаётся?»

И слова матери соломинкой подплывали: «Не крушись о былом, сыночка. Иди по жизни без оглядок: что было, то минуло безвозвратно, а чему бывать – того не миновать».

«Что ж, мама, будем жить. Будем жить».

Глава 28

Людмиле он, как и замысливал, сказал через несколько дней после очередного сеанса в кинотеатре, становившимися уже какими-то дежурными, обязательными в их скучных, полумолчаливых встречах:

– А неплохо было бы, Людмила Ивановна, если бы мы с вами поженились.

«Вот и буду губить себя», – подумалось зло и радостно.

Она затаилась, поджалась вся. Молчала. То ли испугалась, то ли опасалась, что долгожданное счастье любви и замужества не состоится, растворится в этом тусклом ноябрьском вечере. Он за плечи притянул её к своей груди, всю такую мягкую, скругленную. Казалось, что она совсем без косточек, без выступов. Заглянул в её глаза – детские, голубенькие. Но что хотел в них увидеть – не понимал, только отметил про себя: «Круглые и красные. Как у кролика, что ли». Можно и нужно было поцеловать её, однако не поцеловал, лишь погладил, как ребёнка, по выбившимся из-под шапочки белокуреньким кудряшкам. «Чего творю? – не выдержало и возмутилось сердце. Оно раздвинулось где-то там далеко под пиджаком и пальто, причиняя боль. – Захотелось погубить себя, но как же эта бедная девочка? Эх, жисть-жестянка!»

Разжались его пальцы на её плечах, и он что-то хотел сказать, но она сама, в какой-то неловкой торопливости привстав на цыпочки, даже припрыгнув – он чуть усмехнулся, – притянулась к его губам. Он невольно поприжал её к себе.

Так и решилась судьба.

Глава 29

Вскоре вместе с невестой и Иваном Николаевичем наведлся Афанасий в родное село. Но всего на денёк, на какие-то часы, потому что завод утопал в неумолимо срочных заказах: золотопромышленность оживающей страны требовала больше и больше драг, и Афанасий уже который месяц не вылезал из цеха по два-три дня сряду, имел выходные изредка, урезно. Но не тужил от тягот и забот, потому как, чуял и радовался, работа, сбивая и спутывая, спасала душу, вытесняла горестные мысли.

На семейном совете за празднично накрытым столом он настаивал, чтобы свадьбу сыграть в городе: подальше отсюда! – скребла мысль. Ссылался на свою занятость, даже нахваливал удобства и красоты общественной столовой.

– Можно с комфортом, – увещевал он необычным для деревни словом, – в нашей заводской столовке посидеть или в ресторане.

И какие-то ещё, с жаром, в непривычном для себя волнении, выкладывал, точно козырные карты, резоны. Иван Николаевич, разомлев от ласки и хлебосольства хозяев и выпитой изумительной кедровой наливки, с наколовшейся на усины капустой поддакивал будущему зятю. Илья Иванович тоже не возражал, украдкой любясь заметно возмужавшим сыном и кроткой прелестницей невесткой, полыхающей щёчками. Однако мать, успевая приятственно улыбаться своей новой родне и подставлять и подкладывать новых и новых закусок, была – непреклонна: дома, в Переяславке быть свадьбе! Только – в доме родовом, только – в Переяславке родимой.

– Радость-то какая – сына женим, и – чиво же, люди добрые? Утáимся в вашем крошечном городе от народу? Ну уж, сыночка, нет! Тама, в вашем городе, кто с кем знаком-то? Известно всему свету: сычами друг на дружку глядите, чужим отрадам не радуетесь, на стороннюю горесть не откликаетесь. Чтоб Людмилочку да не показать людям нашенским переяславским, такую красавицу, умницу, фортепьянницу, в фате, в уборе белоснежном да вышитом? Да чтоб мне и отцам вашим не постоять, не посидеть рядышком с вами, с голубками нашими, при людях наших? Да чтоб всё село не сбежалось к нашему дому да не зыркало изо всех дверей и щелей на вас, ангелочков наших? Ну уж не-е-ет! Сыграем хотя и в бедненьких... без конно... фортов, конечно. – Заметила, как сын снисходительно улыбнулся, смутилась: – Тьфу, как эти всякие удобства у вас тама величают?

– Комфортами, сватьюшка, – улыбаясь, подсказал Иван Николаевич, уже и не знающий, от чего больше хмельной – от настойки или радушия свата и сватьи.

– Конфорками, говоришь, сват?

Все засмеялись.

– Ай, ну вас, городских! – притворно обиделась Полина Лукинична, счастливая счастьем своего разрастающегося родового круга. После гибели сына Николая её сердце, кажется, впервые, раскрепостилось и запело самыми лёгкими и сладкими голосами. – Навыдумываете всяких словечек заковыристых, – ласково ворчала она. – А моё слово твёрдое и ясное: сыграем хотя и в бедненьких, ан в родимых стенах, сыночка, при всей нашей родименькой да честной Переяславке. При народе! Нам нечего совеститься, прятаться по столовкам да ресторантам всяким. В городе своём можете расписаться и – сюды прямым ходочком. В Тайтурке сойдёте с поезда – встретим вас, усадим в бричку с запряжкой тройки и-и – эх! – галопами да рысями на Переяславку! Верно я мыслю, мужики? – покровительственно похлопала она по плечам уже заметно пьяненьких мужа и Ивана Николаевича.

– Верно, верно, – охотно поддакнул, обычно спорящий с женой, Илья Иванович, подливая Ивану Николаевичу настойки. – Обещаю: коней колхоз выделит. Сам возьму вожжи – прок-к-качу! Ну, сват, давай ещё по одной, что ли.

– Ваше здоровьице, сват и сватья!

– Что ж, нет так нет, – промолвил, поведя, казалось, сведённой челюстью, Афанасий и встал из-за стола. – Чего там, батя, надо по хозяйству поладить – показывай, пока я добрый, – усмехнулся Афанасий. Но тут же поправился, очевидно осознав, что несправедливо резок: – Ночным поездом отчаливаем в Иркутск: дел на заводе неспорно, Людмилу... – он полсекундно замялся и зачем-то прибавил: – Ивановну ждут ученики. Одним словом, как снарядитесь тут с гулянкой – телефонируйте нам на завод. Прикатим немедля. Что ж, гулять так гулять, в Переяславке так в Переяславке. Да ещё с тройкой лошадей. И нам будет приятно, и людям – забава, – намного тише, тише давя в себе досаду и разочарование, прибавил он о «забаве».

– То-то же! – ликовала мать. – Эх, пронесёмся по Переяславке! Ты, Илюша, тех трёх вороных в работу особо не отдавай: пушай нагуляют силов да лоску.

– На дальний стан, аж в Буретскую падь, тишком угоню их: чтоб подальше от глаз начальства, – с заговорщицкими подмигиваниями будущему свату сообщил Илья Иванович, ещё подливая себе и ему.

– Ну, айда, батя и Кузьма, во двор: показывайте, где там у вас какие неладки по хозяйству, – угрюмо промолвил Афанасий и скорым шагом вышел из горницы.

Ему было горько. Все веселы, все довольны, все счастливы, но он понимал, что ни веселья, ни довольства, ни счастья не должно быть сегодня.

Неладов в усадьбе, увидел, скопилось немало. Однорукому Илье Ивановичу сын Кузьма, уже парень, десятиклассник, похоже, был не скорый сподручник. Кое-где заплот накренился, калитку перекосило, одна из воротин безобразно просела. Дров в сарае почему-то не густо было, а всегда раньше – поленница ломилась под самую кровлю. Снег со двора почему-то не убран, да и перед воротами – огромный сугроб, к калитке – воровато крадущаяся стёжка. Никогда такого не бывало, – печально и сумрачно озирался Афанасий, находя новые и новые приметы хлипкого хозяйствования, а со стороны Кузьмы, возможно, и нерадивости. Но всего не переделаешь за оставшие часы, взялись за самое неотложное: на стойке – теплушке для скота – тёс сильно подгнил, искоробился, кровля прохудилась, и сейчас, зимой, тепло резво уходило, образуя дырявые шапки куржака и наледей; а летом конечно же помещение заливало дождём – скот пребывал в сырости, в неуют.

Кузьма и Афанасий отдирали старые доски, прибавляли взамен новые. Работалось споро, потому что оба были умельцами, хотя Кузьма, косился на брата Афанасий, кажется, всё же не без ленцы. Он был сильным, сбитым парниной, однако помельче брата. Из-под лихо задвинутой на затылок ушанки выбивались нечёсанные мальчишечьи кудряшки. Разговорчивый, общительный, он с охоткой и без умолку рассказывал о своих задумках, дотошливо допытывал о городской, студенческой жизни. Мыслил братовыми путями пойти – летом в институт поступить, но не на инженера – на технолога пищевой промышленности, не без важности сообщил он.

Рассуждал серьёзно, по-взрослому.

– Всегда, братка, буду сыт и при капиталах, – форсисто произнёс он ныне подзабытое «при капиталах». – Наш сосед, Гошка Пчелинцев, на мясокомбинате в Усолье пристроился – так лопаёт во время смены до отрыжки, ряху наел – не узнаешь. По уговору с мастером, говорит, браку мало-мало нагоним, он как-то там спишет продукцию, жулик-де, ещё тот, втихаря поделим и – растащим по домам. Излишки, хвастается, продам – всегда в кармане живая денюга, семья благоденствует. А Машку Извекову помнишь? Доходягой была, их у тёти Клавды восьмеро, двое, сам знаешь, помёрли от голодухи, а муж, дядя Петя, с войны не пришёл. Так эта самая Машка за тайтурского мужика выскочила, в лесозаводскую столовку там устроилась, ведрами помой домой таскает со своим муженьком, по десятку, говорят, поросят держат. Летом понаведалься сюда, глядим: что мужик еёный, что она сама – чисто два поросёнка вышагивают по улице, только что пятачков и хвостиков нету.

Афанасий хмурится, сопит, слушая словоохотливого брата. Ему не нравится, что у Кузьмы, увлечённого рассказом, на его толстые губы натекла слюна, ему не нравится, что маленькие живые глазки брата азартно сверкают, ему не нравится, что он старается поскорее закончить работу и, наверное, убежать на улицу, по которой расхаживают его сверстники, парни и девушки, и призывно машут и свистят ему.

Афанасий прерывает внезапно:

– Что, тоже хочешь ряху наесть?

– Ну, ряху, не ряху, брательник, а жить-то охота по-человечьи, – не растерявшись, солидно отвечает Кузьма. – Наголодовались за войну и опосле – сам знаешь. Да и мать говорит, что пищеводческое дело – оно верное. Мечтает: будешь-де стариков своих, меня да отца, подкармливать и баловать колбасами да окороками.

Афанасий снова оборвал:

– Комсомолец?

– Ну.

– Ну – гну.

И с широкого плечевого размаха молотком, как обычно кувалдой, по – гвоздю. Но нет: по гвоздю не получилось, промазал, – по доске громынуло. Древесина затрещала, ошпилилась, а старенькая стайка опасно содрогнулась. Поросята в загородке ворохнулись и завизжали, бурёнка, метнувшись, опрокинула бадью с водой, коза и козёл, прохаживаясь за пряслами на воздухе и щипля сено из стожка, вкупе заблеяли.

Больше ничего не сказал.

– Ты чего, братка? – участливо спросил Кузьма.

– Гвоздь дай. Вон ту доску подтяни. Чего рот раззявил? Слюни-то смахни. Тоже мне, жених. Шевелись, что ли!

Кузьма хотел было осадить: жених-то ты, а не я, но промолчал, заметив дрожащие под щёками брата косточки. Молчком работали, как чужие.

На собраниях, у себя на заводе или в райкоме комсомола, Афанасий, атакующий, секущий наотмашь словами, идейные, правильные речи умеет произносить, горячо честит идеологически и морально шатких, а также недобросовестных, ленивых, но как о том же поговорить с братом – не знал. Растерялся. Думал, распиливая и прибивая доски: «Ведь не скажешь ему: партия, Ленин, товарищ Сталин и всё такое в этом духе. Да и чего я на пацана накинусь? Мечтает стать колбасником – ну и бес с ним. Родине и колбасники и колбаса нужны. Досаду срываю, злюсь? Так на себя надо злиться... женишок!»

– Ножовку подай-ка, братка, – глухо, но мягко попросил он у Кузьмы.

Минутами Афанасий прервётся – вытянувшись туловищем, пристально смотрит в одну сторонку. Там за снегами и заплотами – двор Пасковых. То Любовь Фёдоровну увидит – вышла она подоить корову, в соседнюю избу крынку с молоком уносила на продажу, то – Марию, Екатеринину сестрёнку. Мария уже девкой стала – длиннонога, складна, очевидно, что модница, франтиха. Екатерину напоминает. Очень похожи, очень. Только волосы по нынешней моде – короткие, стриженные, к тому же с лихим косым пробором – под Мэрилин Монро; и коротки настолько, чтобы шею, тонкую изящную её шею, было видно всю. Волосы завиты на бигуди из крупно свёрнутой газеты, чтобы, понимает Афанасий, завитки получились объёмными, броскими. «Хм, пижонка, однако, – подумал. – Красотой своей только что не торгует. Так, глядишь, и выкрикнет, как на базаре: эй, кто больше даст! А Катя? А Катя – друга-а-а-я», – невольно пропел он в мыслях и даже призакрыл веки.

К воротам Пасковых чредой подходят парни, свистят, тарабанят в калитку. Сегодня в клубе, кажется, танцы, вот молодёжь и сбивается в гурты. Мария выскочит на крыльцо в полужастёгнутой кофточке и распахнутом сарафане – смеётся, дразнит парней голыми коленками,

открытой грудью, подмазанными бровями. Выглянет в дверь мать, прищикнет на свою отчаянную дочь – та неохотно вернётся в тепло.

Смотрел, смотрел Афанасий, а чего хотел высмотреть – и сам хорошенько не понимал. Может быть, надеялся на чудо: выйдет и *она*.

– Да Катька тут не бывает, – наконец, не выдержал Кузьма и с дерзкой насмешливостью взглянул в глаза брата. – Вы ж где-то там, в городе, – усмехнулся он.

Резнуло и возмутило – «Катька», «вы ж». Что-то хотел ответить, но промолчал. Едва проглотил солоновато горячий ком.

Стал поглядывать в другую сторону – на зеленцеватую, в голубеньком, как косынка, туманце Ангари, ещё не скованную повсюду льдом, на великое правобережное потаёжье. Давно приметил за собой – в Иркутске к Ангаре не присматривается, не любит её, редко выходит к её берегам. Там она не такая – не своя, какая-то чужая. Но там сладко и блаженно вспоминал свою, родную, – реку детства и юности, реку любви и печали своей.

Глава 30

Свадьбу сыграли через несколько недель, погожим и солнечным, но студёным и снежным декабрём. С завода отпустили жениха всего на два дня, но и в эти скоролётные часы он умаялся душой до того, что только и думал, чинно сидя с невестой за праздничным столом, – скорей бы на завод, чтобы окунуться в его грохочущую жизнь и – забыться.

На тайтурском вокзале, как и обещано было матерью, молодожёнов, уже расписавшихся в городе, как положено, по месту жительства, встретили тройкой вороных с колокольцами в дугах, украшенных атласными лентами и бумажными цветами. Раскормленные, молодые кони были впряжены в новенькие широкие розвальни, в которых золотилась свежая солома, а поверх – раскинут большой, пёстрый, в замысловатых восточных узорах, но изрядно потёртый, «персидский» – были уверены и отчего-то гордились селяне, рассказывая о нём в других краях, – ковёр. Один на всю деревню, оставшийся в ней с каких-то царских времён, даже во всём районе не видывали переяславцы ничего сходного. Слышали, правда, что в кабинете какого-то черемховского партийного начальника висит тоже порядочных габаритов ковёр, но без таких вот роскошных узоров, хотя и с ликом самого Сталина, при параде с золотыми погонами. Афанасий сразу вспомнил эту необычную и диковинную для деревни утварь: она, не находя применения и никому в сущности ненужная, пылилась на стене в реквизитном чуланчике клуба и только лишь однажды была использована – в самодеятельной постановке о красноносом кулаке-кровососе, которого Афанасий, заядлый театрал, и играл. «Кровосос», грузный и хмельной, возлежал на этом ковре, покрикивая на измождённых батраков, работавших из последних сил мотыгами.

«Хм, что тут за балаган устроили!» – поморщился Афанасий.

И хотел было сказать матери, когда она обнимала и расцеловывала его и Людмилу, сошедших с поезда: «Ну, мама, даёшь! Режиссёр ты наш великий, Пырьев тебе и в подмётки не годится!» Но сдержался, а напротив – почтительно склонил лоб, смахнув с головы каракулевую шапку, для исконного в ветровской семье материнского лобызания. Сыну понятно – матери хочется справить свадьбу по старинным обычаям, да и размашисто чтобы было, с пышностью. Мол, знай наших. Однако почувствовал себя актёром, скоморохом, который обязан развлекать толпу зевак. Хмурился, глазами давил землю. Потом мешком повалился в розвальни в своих отглаженных, широких, с манжетами брюках, в пальто из бобрика, пошитое на заказ у недостижимого для простого человека модного портного-еврея, которые в войну расселились по всему Союзу с западных территорий, оккупированных немцами. Понял, что изменётся, пока докатят до неблизкой Переяславки, а неаккуратность, неопрятность в одежде он уже не любил: всегда на виду, на людях – нужно соответствовать.

«Эх, мама, мама!» – вздохнул, уже не зная, как выразить своё наседающее на душу неудовольствие.

Люди, толпясь возле розвальней, любовались женихом и невестой.

– Чё говорить, Настасья: знатна пара!

– Тож и я тебе толкую, Тимофевна.

– А обряжены-то оба с иголочки. Гляньте, на невесте всё китайчатое – шик, ай, шик! Хоть в церкву под венец веди. Королевна!

– Жених-то, балакают, шишка в городе, деньжищами ворочает.

– Любо посмотреть: оба красивые и статные, – перешёптывались люди, поедая глазами новобрачных.

Людмила прилегла рядышком с Афанасием, восхищённая и очарованная. И вправду она облачена с шиком: на ней элегантно, приталенное пальто с меховыми манжетами и богатым лисьим воротником, ботинки с собольей опушкой на высоком каблуке, в руках очень модная

миниатюрная с вышитыми цветами китайская сумочка, на шею повязан тонкорунный шарфик, алеющий весёлым огоньком, тоже китайский. Хлынувшие теми годами в страну китайские вещи – нечто высшее, изящнейшее, даже вожащенное.

– Какая прелесть! И розвальни, и лошади – всё-всё прелесть! – шептала она на ухо Афанасия. – А слышишь, что люди про нас говорят? Оба, говорят, красивые да статные. Пара, говорят. Ты слышал, слышал?!

– Угу.

– Вот тебе и угу! – несколько жеманно засмеялась Людмила, очевидно желая быть приятной для всех, и приподняла голову, чтобы удобнее прислониться к плечу любимого, уже – но, кажется, не совсем ещё верилось минутами – мужа, уже мужа. Конечно же мужа, её мужа.

Афанасий угадал её намерение и неожиданно, возможно, не совсем хорошенько осознавая, что и зачем делает, – слегка выставил навстречу локоть.

Она наткнулась на это внезапное препятствие. Он чутко уловил недоумение и растерянность в её поморщившейся, по-детски припухлой щёчке, – приобнял, погладил даже. «Пацан! Придурок!» – выругался в себе.

По бокам к ним привалились потрясённые столь необычным повстречанием парень и девушка – свидетели из Иркутска, люди сугубо городские. В ногах приткнулся Пётр Свайкин – знатный местный гармонист. А на передке, присев на одно колено, – бравый, в яркосиних плисовых шароварах, которые достались ему лет тридцать назад от отца и надевавшийся только по особым торжествам, с грудью нараспашку, с шапкой набекрень, возникший Илья Иванович.

«Ну, ты-то, батя, здравомыслящий ведь человек, чего вырядился, как опереточный артист?» – хотел было спросить сын, да отец наддал вожжами и вскрикнул удало:

– А-а-а ну, роди-и-и-мые! – И красавцы лошади, всхрапывая и шибая по припорошенным камням подковами, мощно взяли хода.

Секунда – и сани уже летели, полосуя раздольные лесостепные снега. И вдали, и назад – нагущенно белó и яркó. Глаза нещадно слепило и резало. Мороз, как и следует по утрам, на восходе, подкрепчал, аж, думалось, захрустел воздух. И мнилось Афанасию, что земля и небо нечто цельное и слитое, а то и смороженное, на веки вечные, что не бывать ни оттепелям мартовским, ни цветению лесов и полей. Так и пройти жизни целой – одноцветно, безлико, в зноби потаённой нелюбови. Но – останется работа, понимает Афанасий, жизнь завода, райкомовские дела. Нечего хныкать: стране нужны бодрые, сильные люди!

А тройка неслась, летела. Чудилось, что стремилась обогнать даже само время, само движение жизни, чтобы разглядели сопутчики свою судьбу в этих немерянных просторах поангарья. Но, куда не повернись, виделись только белые, белые дали, за которыми – белое промороженное непроглядье.

Хорошо шла тройка, не качко, не тряско, говаривали: летом. Илья Иванович конечно же старался изо всех сил: сына, невестку везёт. Он в плечах был обёрнут вожжами, а потому мог править и туловищем: склонялся при поворотах направо-налево или же, когда притормаживал или останавливал коней, откидывался назад. Даже умудрялся размахивать бичом. Хотя и с одной рукой, однако правил лихо, умело, твёрдо. То и дело оборачивался к своим дорогим пассажирам, порой склонялся к их лицам и озорно подмигивал: мол, не изволите ли приказать, чтоб шибче поехать?

«Радуетя батя. Точно ребятёнок», – с мрачной ироничностью отмечал Афанасий, однако чувствовал, что душа от минуты к минуте легчает, распрямляется и даже веселеет. Возможно, этот свистящий, жгучий вихрь сдувает с неё накипь горечи и разочарования.

За тройкой выюжило снегом ещё несколько саней с ворохом гомонливого, развесёлого, изрядно хватившего люда. Наяривали гармони, хотя пальцы гармонистов зябли и коченели, бабы, укутанные цветистыми шальями, залепленные куржаком и полыхающие щёками, разли-

вались песнями, частушками. Кучеры явно лихачили: наезжали, вроде как соперничая, к бокам или даже наперёд тройки, благо, ехали не шоссе, а окольными путями, через поля и елани по пока ещё неглубоким снегам.

– Какая прелесть, какая прелесть, – всё шептала обворожённая невеста.

Афанасий приметил бусинку слёзки-росинки, подмёрзшую на нижнем веке её глаза. «Все радуются и волнуются. Один я заледенённый».

– Эх, вжарь-ка, Петро! – неожиданно попросил он гармониста и несоразмерно громко и неестественно басовито подтянул песню, услыша её с соседних возка и розвальней:

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьётся пыль из-под копыт,
Колокольчик, заливаясь,
Упоительно звенит.
Едет, едет, едет к ней,
Едет к любушке своей!
Едет, едет, едет к ней,
Едет к любушке своей!..

Оборвал песню. Смотрел недвижно, не мигая, осознанно мучая глаза, в кипенно-жгучие глубины далей.

Илья Иванович, тоже молодечествуя, здорово надал вожжами и бичом ожёг коренника – тройка унеслась далеко вперёд, и песня вовсе затерялась в снегах и стуже.

– Афанасий, что с тобой? – робко спросила Людмила.

Он не ответил – обнял её крепко-крепко, но голову прижал к своей груди: возможно, чтобы она не смогла заглянуть в его глаза.

– Ой, мне больно.

Приослабил хватку, но в глаза свои не допустил.

Наконец-то, и родная Переяславка. С крутого взгорья опрометью помчались к селу, встретившего поезжанье тугими, но гибкими хвостами печных дымов. Просинями воды приветно помигала ещё не одолённая вконец льдами Ангара.

Мчат, горланят, визжат – встречай, деревня! Встряхнуло на кочке – гармонь взвилась и нырнула краснопёрым окунем в сугроб, с кого-то валенок слетел. А свидетель, с непривычки, да к тому же по пути опоили его, так и вовсе не удержался – бултыхнулся в кусты. Нос, бедняга, ободрал, а так ничего, обошлось. С хохотом обмыли ему лицо самогоном, поливая из бутылки и стараясь попасть струёй в его рот. За руки за ноги забросили очумелого паренька в розвальни. Обули разутого, отыскали и всучили гармонисту гармонь, заставили играть, посоловело от хмеля. Понеслись.

Афанасий озирается – вдыхает глазами и грудью. Вот погребённое под снегом кладбище, правее – обезглавленная церковь-склад. Потянулись заплоты и огороды, поскотины. «Здравствуйте, – мысленно кивал он головой всем сторонам родного света, как чему-то живому. – Как живёте-можете?»

Возле ворот дома – куча народу. Встретили молодожёнов с хлебом-солью, с посыпанием пшеном и мелкой монетой, с шутками-прибаутками, с песнями-плясками. Афанасий прощупал взглядом толпу – Пасковы, Машка и Любовь Фёдоровна – лишь встретила поезжанье, а в дом не вошла, хотя её приглашали, – тоже оказались здесь. Потянул невесту скорее в дом.

Чуть было не сорвался, когда мать в сенях, где не было народу, перед самым входом молодожёнов в горницу, из-под платка вдруг вынула икону старинного медово-тусклого письма, ещё от давно умершей бабушки, знал Афанасий с детства, перешедшую к Полине Лукиничне и оберегаемую в ветровском роду. Подсунула её к губам сначала Афанасия, а следом – Люд-

милы. Афанасий притворился, что не заметил, не понял – заворотил голову набок. Однако мать всё равно тыкнула ему в губы – раз, два, а на третий – получилось в лоб.

Людмила же, твёрдо остановившись в сенях, наложила на себя крестное знамение, принаклонилась и троекратно, без спешки поцеловала краешек иконы Спасителя.

– Да вы что, одурели обе? – прошипел Афанасий, но толпа подавила со двора, вмяла в горницу.

Глава 31

Все ввалились в жар, щедро исходивший от развалкой, наново пробеленной русской печи, и в духовитость изобильно убранного стола, а точнее, четырёх столов, протянутых с лавками в единый по двум горницам, кухни и даже закути.

Ещё один стол был накрыт в летней избушке во дворе – для всех тех, с гостеприимной задумкой, кто не вместится в дом. И дом был наводнён народом, и избушка не пустовала; туда скучковалась «зелень» – друзья и подружки Кузьмы. «Долгонько», беседовали селяне, в Переяславке не игралось свадеб: молодых мужиков повыбила война. И вот теперь «молодняк», удовлетворённо отмечали пожилые переяславцы, подрастает, входит в пору и мало-помалу обзаводится семьями.

А сегодня к тому же случилась «непростая» свадьба: свадьба «аж самого» Афанасия Ветрова – «анжанера», «начальника», да невеста, гляньте, городская, красавица, к тому же говорят, что «фортепьянщица» («А чиво это такое? Пьянщица? Чудно!»), – отчего же не поглазеть, не поучаствовать.

Потихоньку, с приглядками, со взаимными услужливыми уступками, переминанием, покряхтыванием, наконец, поууселись за столы и затеялось неторопливое, поначалу степенное застолье.

Афанасий как сел на своё жениховское место на лавке, быстренько застеленной всё тем же «персидским» ковром, сел прямо, широкоплече, так и просидел, малоподвижно и малоразговорчиво, до поздна, пока гости не стали мало-помалу расходиться, горлая песни, кидаясь на неверных ногах в плясовую, поддерживая друг друга.

Требовали люди: «Горько!» – выполнял Афанасий исправно. Втягивали в разговоры – отвечал солидно, обстоятельно, но предельно кратко. Затевали потешные игры и пляски – и играл, и даже плясал, но с тем же неулыбчивым, как на собраниях, лицом.

Старый и сморщенный до состояния сушёного гриба, но гомонливый и большой охотник на утеху людям пошутковать и поёрничать Щучкин, окосев после третьей рюмки, с «сурьёзными вопросами» полез:

– А скажи-кась, Афонька ты наш Ильич, когда нам коммунизму ждать? Уж песок сыплется из меня – доживу ли?

– Доживёшь, дядя Вася, доживёшь, – чинно отозвался Афанасий, не принимая «подковыристую» ухватку старика насмешника.

– Эх, братцы, а как жалательно, чтоб всё обчим заделалось! Захожу я, к примеру, в наше растутыкое селпо – и беру, и беру. Ну, чего душа жалает. И денег, усеките, не плачу. Ни копейки! Во жизнь будет, мил народ!

– Смотри, Матвеич, чтобы тебе дурнотно не стало в первый же день коммунизма – обьешься да обопьешься, животом будешь маяться!

– Заворот кишок, чего доброго, приключится! Коммунизм – а тебе, бедолаге, помирать! – посмеивались над стариком.

– Да сядь ты, помело! – Это Матрёна, его старуха, рослая, хмурая, встала, кулаком по спине приласкала своего суженого.

Но старик уже разохотился, его, понял народ, понесло:

– А скажи-ка, невестушка, фортепьян скока градусов будет? Не прихватила, случаем, с собой бутылочку? Я бы отведал с превеликим удовольствием.

– Чем, Матвеич, зубами, что ли, отведал бы? – осклабясь и для всех подмигивая, полюбопытствовал Илья Иванович.

– А что, разве фортепьян не пьют? Жуют, ли чё ли?

– Тыфу ты, дурило! – нешуточно рассерчала на родича Полина Лукинична. Её материнское сердце уже закипало: да кто смеет скоморошничать и кривляться на свадьбе её сына! – Фортепяна-то, неуч ты разнесчастный, знашь ли, чё такое?

– Так я мозгую, Полюшка: дербалызнул али пожевал, как ягод из бражки, и – заусило, вот чего!

Хохот заплясал по столам, только что посуду с закусками не сбрасывало на пол. Старик доволен: рассмешил народ, распотешил на славу.

– Илья, – жарко, но придушенно шепнула Полина Лукинична мужу, – да в шею вытолкай ты в конце-то концов этого зубоскала. Поганит, мерзавец, святое наше торжество.

Но Илья Иванович, посмеиваясь, отмахивается; подливает водки свату Ивану Николаевичу. Чокаются, выпивают, приобнимаются – они довольны и веселы.

Невеста, смущённая, огнисто заполыхавшая щёчками и чуточку обескураженная, своим тонким голосом пробивается:

– Фортепяно, дедушка, это музыкальный инструмент. Очень большой и красивый.

Афанасий краем глаза подмечает этот её румянец: «А что, хорошенькая», – и в груди его тонкими струйками растекается холодноватое тепло, будто стала таять льдинка.

– Ай, дурная моя башка! – исступлённо казнится добровольный лицедей, обхватив голову ладонями. – Инструмент, говоришь? Красивый? А я думал, какое-нибудь заморское питье. А музыку он красивую выдаёт?

– Очень!

– А научи-ка меня, невестушка, на фортепяне своей играть: шибко я люблю красивую музыку. И старуха моя, Матрёна Васильевна, тоже имеет склонности ко всяческим прелестностям и тонкостям. Слышь, Матрёна, обучусь фортепянскому ремеслу – буду тебя ублажать музыками.

– Ты, помело чёртово, лучше бы отремонтировал заплот на огородине. Вчерась кот Тишка загнал курицу на верхотуру, я полезла за ей, а доски ка-а-ак затрещат, я ка-а-ак ухнусь вместе с имя. Грудину зашибла, чтоб тебе неладно было!

– Ну, твоей гренадерской статью можно и плотину Днепрогэса повалить! – ввёртывает старик, озорно подмигивая соседям по столу.

Хохот – громыхнул. Кажется, изба затрепетала. Матрёна – с кулаками на мужа, надала ему в бока. Он, щуплый, мальчиговатый перед своей сдобной супругой, ловко увильнул, хотел что-то ещё сказать-выкликнуть, однако она всё же сграбастала его, прижала к месту, кулак к носу подставила. Малость присмирел старый проказник. Чарку за чаркой, как плату за доставленное публике удовольствие, принял. И после шестой или седьмой его вовсе раскачал: стопку хватит, минутку посидит вроде как в задумчивости да как вскинется:

– Горько!

После очередной, не долго потерпев, снова:

– Горько!

– Матвейч, пожалкуй жениха с невестой: уж губы, глянь, фашист ты этакий, у них вздулись! – смеются люди.

– А кто меня, битого-перебитого жёнкой родной, пожалкует? Не-е! Мстить буду! А ну – горько! Кому сказано!

Полина Лукинична, насилуя своё хлебосольство, наконец, вытолкала, ухватив за шиворот, Щучкина на мороз, чтоб «головушку свою отчаянную остудил».

Когда поутих смех, слово взял, предупредительно кашлянув в кулак, председатель колхоза Древоколодов Сидор Иванович. Поправил свою фронтовую, перечиненную и пропотелую гимнастёрку с медалями и орденом, какую-то вчетверо сложенную бумажку вынул из нагрудного кармана, потеревил её в мозолистых, медвежковатых лапах.

– Гх, гх, товарищи. Как говорится, нашим молодым всяческого блага. Любовь да совет вам, новобрачные! А чтоб помягше вам жилося – правление жалует вот этот ковёр. Персидский! – широким жестом указал он на ковёр, на котором сидели молодожёны. – О чём и сообщает настоящий документ. Чтоб органы, как говорится, претензий ни к нам, ни к вам не имели.

И, всучив Афанасию изрядно помятую бумагу и крепко потрепав его пятерню, по давнишней старшинской привычке гаркнул, будто подал команду:

– Горько!

– Го-о-о-орько-о-о-о!

Опечаленный и раздосадованный Афанасий машинально коснулся мяконьких и ароматных губ невесты. Но неожиданно заметил синенькие ниточки-жилки по её бледному, полупрозрачному виску.

Ему жалко её – какая-то она вся беззащитная, мечтательная девочка, с малопонятной для окружающих, вызывающей смех профессией «фортепьянщица». Влюбилась без памяти, поверила, что тоже любима и желанна. А – он?

– Ежели жалеет, значит, любит, – не раз раньше слышал Афанасий от стариков.

Они, старики, никогда не говорят «любить», они говорят – «жалеть», «жалковать». Вот и он жалеет её. Она ведь теперь не посторонняя ему, она жена его, супруга.

«Супруга», «подпруга» – как у лошадей; в толковом словаре так и написано: «супруги – парная упряжка». Получается, что судьба в одну упряжь и впрягла его и Людмилу. Теперь вместе тянуть воз жизни, друг другу помогая. Так? Конечно, так. И не надо вопросов, – говорило сердце Афанасия.

– Горько!

– Подсластить!

– Ой, горька водка, не могу!

Склоняется, целует невесту. Маленькая она перед ним, робковатая, какая-то скованная, несвойская для окружающих, будто заплутала по дорогам жизни и забрела не туда. Жалко, жалко её. В груди – тёплый холодок: казалось, таяло в ней что-то.

«Будем жить, – подумал. – Насмеёмся, наплачемся и – будем жить. Жить-поживать, добра наживать. Теперь всё у меня с ней как у людей».

И какое-то тонкое, трепетное чувство стало распускаться, расти в нём.

Услышал красивое, глубокого голоса пение. Все обернулись к сениям, от дверей которых пыхнуло паром с улицы. Оказалось, молодёжь из дворовой избушки толпой завалила в горницу, чтобы поздравить молодых. Гармошку растянул Свайкин, а запела – Мария, Мария Паскова, сестра её. Другие девчата подтягивали, в такт помахивая носовыми платочками.

Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?
Виновата одна, виновата во всём.
Ещё хочешь себя оправдать!
Так зачем же, зачем в эту тёмную ночь
Позволяла себя целовать?..

Афанасий в обхватившем его волнении вслушивался. И в Марию всматривался: хороша девка, ничего не скажешь. Но далека от Екатерины, очень далека. Ни косы у неё, а выпячивается кургузая стрижка. Ни того изумительного, сияюще чёрного, огня в глазах. Ни скромности и кротости в поведении. Другой Мария человек. Поёт – жеманится, охотится голубенькими

глазёнками за мужичьим племенем, хотя певунья конечно же молодцовская: голос и бархатистый – «ласкучий», шептались за столом селяне, – и сильный; такой в иркутской опере Афанасий слышал.

Целовал-миловал, целовал-миловал,
Говорил, что я буду его.
А я верила всё и, как роза, цвела,
Потому что любила его...

– Какое удивительное пение, – шепнула Людмила, отчего-то румянясь. – Какой роскошный голос. Кто эта девушка? Её бы в город на вокальный конкурс.

Афанасию отчего-то показалось, что Людмилы не было с ним рядом, но – неожиданно откуда-то взялась. Его душа пребывала не здесь: она снова улетала за пределы жизни подлинной, что-то отыскивая в неведомых дальях.

– Что с тобой, Афанасий? – спросила жена тихо и робко, как, похоже, не имеющая права заглядывать в душу этому человеку.

Он слабо, но силясь выглядеть повинным, улыбнулся в ответ:

– Так, выпил лишка. В голове замутилось.

– Но мы не пили. Нам ведь нельзя – обычай.

– Да? А жаль. Я бы не прочь. – Помолчав, проговорил чрезмерно простодушно: – А что, Людочка, давай напьемся!

– Тебе горько? – натянуто и жалко улыбнулась она.

– Так, вспомнилась юность. Её ведь не вернёшь. – И он погладил под столом руку жены.

Пропели девушки – народ доволен. Стребовали ещё. Опять разливались песнями, но уже с плясками, взвизгами, постуками каблучков, кружением подолов, с лихими посвистами парней. Некоторые застольцы не вытерпели: с мест – в пляс. Благодаря, наливают Марии – пьёт, легко пьёт, с подкряком, и с губ рукавом смахивает.

Афанасий думает о Марии, что шельма она, а не девка, что Любви Фёдоровне одной, наверное, непросто с ней.

Глава 32

Потом несколько раз зачем-то выходил на крыльцо, где в морозных, куржачных сумерках курили и беседовали мужики. Понял: хотелось ещё разок посмотреть на Марию, выискивая и распознавая в ней знакомые, родные чёрточки. Слышал, прислушиваясь, её голос в избушке: хохотала девка, а парни ржали. Спросил у дружка юности мальчиковского Феди Замаратского про Марию: наверное, отчаянная девка? Федя был краток: не девка, кобыла недоенная.

Подходил кривобокий скотник Николай Усов, когда-то возле клуба подрался с ним Афанасий. Сейчас дружески поздоровались, приобнялись: когда-то, в войну, пацанами вместе охотились и рыбачили, чтобы выжить самим и подкормить родных и немощных стариков селян.

– Чё, Афоня, как хомуток? – спросил Усов, запанибратски подмигивая. – Не шибко трёт и давит?

– Ничего, Колян, обносится.

– Ну-ну.

В избушке – возня, гам, писк. Мария Паскова, простоволосой, в раздёрганной кофточке, выскочила на мороз, отбиваясь от парней. Подскочила к крыльцу со смолящим гуртом мужиков, задиристыми шуточками осыпала их, поинтересовалась, подбочениваясь:

– Чё, жеребцы, кобыл высматриваете? – И – ещё, да с крепким словом.

– Ну, девка, ну, жиган! – гогочут хмельные мужики, пытаясь ухватить за что попадая отчаянно дерзкую девушку, но она, вёрткая, ускользает от их рук.

Афанасий стоял в сторонке от мужиков вместе с лопатобородым, кряжистым, густо пыхающим едким дымом самосада дедом Новодворским, ветровским соседом, учтиво внимал его протяжным стариковским повествованиям о житье-бытье. Но старик, увидев и услышав Марию, оборвался, плюнул под ноги, даже притопнул.

– Тьфу ты, паскудница! – задохнулся он, бывалый курильщик, дымом. В кашле проколачивал слова: – Да раньше-то, знашь, Афанась, молодняк, хоть парень, хоть девка, чуть завидит старшака какого-никакого издаля – сразу в струночку, и душой, знашь, и телом. В благообразии пройдёт мимо, распоклонится, распоздоровается напервым. А нонче чиво энто покурوله-сило нас? Разумею, знашь, Афанась: безотцовщина повсюду. Где же батьки нету в семье, тама и догляд дырявый, вроде изъеденный мышами мешок. Эх, покосилась жизнь наша русская! А всё она, война, виновата, мать её! – И, раздосадованный, убрёл в дом, приволакивая ногу, раздробленную ещё в Гражданскую лошадиным копытом.

Мария подошла к Афанасию, здороваясь, вымерила его насмешливым, задиристым взглядом.

– Сестра-то бывает дома? – спросил он, тая за грубоватой высокомерностью волнение. И боялся, и ожидал, что Мария скажет: «Да она тут! Позвать?»

– Катюха, что ли?

– Ну! – Его сердце обмерло: а вдруг и в самом деле здесь *она*.

Видимо, разгадала, что переживает он, а потому томила с ответом, бесстыжими глазами посматривала на него.

– А что ей, городской, в деревню, переться? – ответила развязно, но улыбнулась кокетливо.

– Эх, ты, деревня!

Повернулся к ней спиной, хотел было уйти в дом.

– А ты ничё кобелина, – полушепотком заявила она. – Катюху когда-то огулял, теперь городских сучек, вижу, обихаживаешь. Можя, и я сгожусь.

– Пошла отсюда! Кнут, вижу, для тебе как раз сгодился бы.

– Не тебе гнать: тётя Поля меня зазвала. Да ладно уж: шуткую я. Тоже мне фон-барон. Больно нужен ты: у меня ухажёров полдеревни с привеском. Катюху обидел, а теперь корчишь из себя праведника? Молоток!

Афанасий не отозвался, сражённый и посрамлённый. Приметил ухмылки парней и мужиков, затаённой молчанкой куривших на крыльце. Ринулся в дом, в потёмках сеней запнулся о порог, сбил головой висевший на стене таз, с грохотом влетел в горницу. К Людмиле подсел, торопливо обнял её. Застольцам, уже немногочисленным и отягощённым хмелем, подмигнул:

– Ну и где ваше «горько»? Выдохлись, а?

– Го-о-о-рькья! – заблеял старичок Щучкин.

Он, залихватски опрокинул стопку, но получилось мимо рта, и уткнулся лицом в блюдо с жирными налимыми объедками. Матрёна Васильевна – под мышки его и поволокла домой.

Гости потихоньку расходились, с песнями, с приплясками, лезли целоваться-обниматься к жениху и невесте, к хозяевам дома. Пиршество закончилось. Наконец-то! Афанасий через силу улыбался, провожая гостей.

Людмилу, сморённую и утомлённую, Полина Лукинична уложила спать. Илья Иванович, сражённый хмелем, похрапывал на лавке на «персидском» ковре. Сама Полина Лукинична взялась было убирать со столов, но присела на сундук и – задремала, привалившись к стене. Все жутко устали: свадьба – нелёгкий труд для жениха с невестой и для родственников.

За столом в одиночестве остались Афанасий и Иван Николаевич. Поговорили о любимых обоими заводских делах, о недавнем партийном пленуме. Сегодня вечером уже надо отбыть в Иркутск, чтобы утром – с головой в работу, в её желанную круговерть.

Иван Николаевич, трезвенник по природе, но изрядно, под бдительным напором переяславских мужиков, выпивший, неожиданно всхлипнул:

– Ты, Афанасий, вот чего... береги Людмилочку. Береги и цени, прошу. Одна она у меня, одна, кровинка.

Афанасий знал Смагина как человека сурового, наступательного, но бдительно таящего свою душу. И вот она, душа его, как птенец из скорлупы, пробилась. Явилась, скрывавшаяся от всего света за коркой-скорлупой хмури и деловитости. Явилась беззащитной, какой-то наивно детской или же, напротив, старческой, но тоже наивной.

Ничего не сказал Афанасий, лишь покачал головой и потрепал приятеля, а теперь и тестя, за костистое, выпирающее, «как у лося», плечо. Может, и уладится, утрясётся жизнь, – всматривался он через проталинки наледенившегося от людского дыхания окна в плотные потёмки дикого правобережья.

Смагин трудно сглотнул, вымолвил:

– Извини, Афанасий, перебрал я сегодня. Понимаешь ли, разнюнился нервной дамочкой. Присклонился лбом к столешнице и вскоре уснул.

Один Афанасий в доме не спал. Долго, до зоревых просиней в окнах и пробуждения матери не вставал из-за стола. Скорей бы на завод.

Глава 33

Что же Екатерина?

Она годы подряд живёт одна, одиноко, внешне одноцветно, даже «сиро», – как сама порой думала о своей жизни, не без иронии усмехаясь. Однако была богатой и разнообразной жизнь её сердца. Оно жило, казалось, по иным законам, которые, возможно, не связаны с законами внешнего бытия округ. И хотя не сторонилась людей, не была молчуньей, тихушницей, но ни с кем не сходилась близко и душевно. Она несла в себе свою неизбывную печаль, хороня её, возможно, даже от самой себя. Она не была унылой, но и весёлой, если спросили бы, никто не припомнил бы её.

Её первейшими спутниками и собеседниками стали, как и мечталось в юности, книги. И профессия была связана с ними же, с книгами, любимыми и разными. Она, закончив институт культуры, работала заведующей отделом в большой районной библиотеке Глазковского предместья, того самого деревенского, своей многоулучностью перепутанного для новичка уголка Иркутска, по которому когда-то плутала, отыскивая Афанасия и его завод. Теперь здесь она нашла для себя, оставив шумное, с назойливостью мужчин и сварливостью женщин мало-семейное общежитие, две уютные комнатки в бревенчатом, совершенно деревенском домике с резными наличниками, с маленьким огородом, с двориком. Стоял он на крутояре, почти что на берегу Иркут, неподалёку от слияния его с Ангарой. А ещё ближе два моста через Иркут – приземистый бревенчатый, а над ним величаво высилась геометрическая стальная поветь железнодорожного. И день и ночь газуют автомобили, трубят паровозы, скрежещут вагоны, отстукивают на стыках колёсные пары. Но близкота великой транссибирской магистрали не утомляет и не сердит Екатерину, потому что она понимает – это трудится страна, это народ поднимается к новой жизни, избавляясь мало-помалу от горечи великих потерь. И она верит, что жизнь через годы – да, может быть, уже в следующей пятилетке – будет только лучше. Только лучше, потому что страна великая и народ великий.

Снимала она эти комнатки, по направлению райотдела культуры, у затаённой старушки Евдокии Павловны, бывшей учительницы начальных классов. Та приняла её неласково – молчаливо-мрачно, колкой приглядкой заплутавших в морщинах мерклых глаз. Но глаза, догадывалась чуткая Екатерина, не были отражением недоброй души, скверного характера; в них сукровичной коросточкой выросла какая-то застарелая печаль. Видела – старушка совершенно одинока: никого из родных и близких рядом с ней не было, никто её не навещал, даже соседи вроде как чурались. Месяц, второй, третий прожила у неё – никаких разговоров, расспросов, хотя бы внешней душевности, а общение – в обрывочках фраз. И, нередко бывало, насторожена старушка вся до последней жилки, будто опасалась чего-то чрезвычайно, жила ожиданием неприятностей.

За собой она оставила одну комнату, скорее, чуланчик, и, заложившись на щеколду, часами пребывает там тихонько, лишь изредка доносятся оттуда какие-то шепотки, бормотания, но распознавалось – молится. Во всём доме – мёртво, хотя вполне чисто, очень даже пристойно. Евдокия Павловна при всей своей замкнутости и нелюдимости – услужлива, предупредительна, преисполнена какой-то тонкой внутренней культурой. Если в комнатах становится прохладно, незамедлительно протапливается печь, за небольшую доплату Екатерина столуется у неё, и еда всегда вкусна и свежа, в разнообразии припасов со своего огорода. Из обстановки хотя и стародавняя, что называется, дореволюционная, но приличная, в утончённой резьбе мебель – комоды, шифоньеры, буфет, стол, стулья, и Екатерина поняла, что они ручной работы и сделаны, как говорится, для себя – мастеровито, любовно. В кадках растут немолоденькими дородными деревьями фикусы и пальмы; на окнах – понедельно сменяемые чистейшие белые занавески, на полу – простиранные и, тоже понедельно, протрясанные домотканые половики.

Повсюду уют, благообразие, обстоятельность. Но отчего же столь странна, угрюма, недоверчива и, похоже, глубоко несчастна хозяйка? Почему она совсем одна, ведь её прекрасный дом-усадьба – чаша полная, для большой семьи? И судя по кроватям и комодам, здесь живало по несколько человек. Почему же теперь дом пустой, омертвелый? Да и сама хозяйка хочет быть в нём только одна: Екатерину к ней, официально бессемейной, имеющей лишнюю жилплощадь, подселили почти что принудительно, решением комиссии райсовета.

Екатерина уже подумывала, не съехать ли, коли чем-то неудобна, неприятна. И стала подыскивать другое место, да однажды произошёл случай, задержавший её в этом доме на долгие, долгие годы.

* * *

Вечером в тихое, патриархальное Глазковское предместье ворвался ветер с дождём и снегом, а к ночи непогода уже буйствовала, завывая в трубах, ломая ветви, крени заборы. Ни днём, ни ночью, ни в будни, ни в праздники к старушке никто не приходил, а тут вдруг – стук. Ладно бы разок-другой постучались – колотят наступательно, властно, Екатерине кажется – дверь расшибут. А за окном ужасное промозглое октябрьское предночь, темь жуткая, рокот урагана; к тому же света нет, видимо, провода перехлестнуло или столб повалило.

Екатерине страшно: стучат, тарабанят. Что и думать: недобрые люди или с кем-то беда, за помощью прибежали? Зажгла керосинку, в ночнушке стоит в коридорчике перед дверью в сени, не знает, что делать. Надо бабушку разбудить.

Но тут и она сама: ковыляя на больных, опухающих, ногах, выбрела в коридорчик. В её руках плотно набитая котомка.

– Нетрудно догадаться: за мной пожаловали. Мужа, сыночков моих извели, а про меня забыли? Непорядок! Что ж, казните, режьте на куски, – я готова. Пожила – хватит. Пора к моим родненьким. К чему мне в этой жизни одной прозябать?

– Евдокия Павловна, что с вами? Кто за вами пришёл?

Старушка спешно надела боты, натянула на плечи дошку, повязалась пуховым платком, взяла котомку:

– Прощай, жилища, – обратилась она к Екатерине. – Если не прогонят тебя отсюда – живи, пользуйся всем, что есть. Нам не дали жить и радоваться, так, может, тебя судьба обласкает. – И направилась к сениям.

Но Екатерина за локоток придержала её:

– Погодите! – Приоткрыла дверь: – Эй, кто там? – Густая тишина ответом, но по двери по-прежнему отбивают. – Вы чего стучитесь и пугаете людей? У нас ружьё: выйду – пальну! Убирайтесь прочь!

Очередной наскок ветра – дощатые сени сотрясло, стекло в оконце звякнуло, а двери затрещали, будто хватили по ним кувалдой. Но Екатерина решительно вошла в сени, сбросила с петли наружной двери крючок, распахнула её и тотчас поняла с благословением и отрадой – ветром сорвало деревянный жёлоб водослива и тот тряпицей мотается на проволоке, шибает по двери. Сдёрнула его и отбросила в кусты. Заложив дверь, заскочила в коридор.

– За мной? – отрешённо и тускло осведомилась старушка.

– Успокойтесь, Евдокия Павловна. Никого нет. Жёлоб швыряло. Если бы люди вошли в наш двор, Байкалка изошёл бы в лае, а так, слышите, молчит, затаился в будке. И как мы с вами сразу не догадались?

– Снова не пришли за мной, – тяжело вздохнула старушка. – А я уж обрадовалась: заберут и убьют, чтоб не изводиться мне.

Екатерина помогла старушке снять дошку, став на колени, стянула с неё боты, под локоть завела в каморку, усадила на топчан, служивший кроватью. Первое что – увидела в углу осе-

янный киот с горящей лампадкой, следом, в нарушаемой светом керосинки затеми, – портреты на стене над топчаном: вихрастого, озорновато прищуренного паренька и солидного молодого человека со значком спортивного разрядника на лацкане пиджака. Ещё один портрет выхватила из потёмок: молодая Евдокия Павловна и статный мужчина с квадратами на гимнастёрке – офицер Красной армии, плечом к плечу сидят, смотрят пристально, как в даль; и оба очень хороши этими своими выхуданными, загорелыми, но свежими лицами единой на двоих устремлённости.

– Ты, я вижу, пригожая девушка, да и красавица редкостная. Но почему всегда одна?

– Одна? – не ожидала вопроса Екатерина, однако ответила спокойно, словно бы заученно: – Я ещё молодая. Не к чему мне спешить. Но почему вы одна? На портретах ваши дети? А на том вы с мужем?

– Мы. Мы все. А теперь я одна. Только одна. – Помолчала, вобрала воздуха, выдохнула в придушенном шепотке: – Как я хочу к ним!

– Куда, Евдокия Павловна?

– Куда, спрашиваешь? Туда, – мотнула она головой к небу.

Екатерина хотела было спросить: «Они умерли?» – но не посмела. Помогла старушке прилечь, накрыла её одеялом, направилась к выходу, пожелав спокойной ночи.

– Ты хотела спросить, живы ли они? Живы, живы... в моём сердце. А на земле их уже нет.

– Простите, Евдокия Павловна.

– Присядь рядышком, Катюша. Сердце разбередилось – поговорить охота с живым человеком. Давно уж я ни с кем не общалась. Как узнала, что Сашу, старшего сына, арестовали и убили, так и стали для меня обрываться мои ниточки к людям. Что ни человек, то злыднем мне кажется, наушником, иудой. Все мне стали плохи, что там – противны. Озлилась я на жизнь и судьбу, даже молитвы не всегда ослабляют и смиряют моего сердца. И даже тебя, такую славную девушку, приняла поначалу за их посланницу. Должно, потихоньку, но верно схожу с ума: думала, подослала тебя, чтобы ты вызнала, чем дышит старуха, которая взрастила врага народа, а мужем её был японский шпион. Раньше-то ко мне на постой не направляли, сама же я никого не хотела видеть, а проситься приходили. Даже от соседей отъединилась. Но тут – ты. Славная, славная ты девушка. Уж прости меня, старую, что сразу не признала в тебе душу. Вон какая ты красавица. А коса твоя – богатство истое. Береги её. А глаза твои хотя и черны, как дёготь, но сияют ангельским светом любви и привета, лучатся. Но больше всего душу свою берегай: она поможет тебе выстоять самой, а потом и людям помогать. Минут нынешние лихолестья, очнётся народ, а кто ж подойдёт к человеку с человеческим, а то и с Божьим словом? Такие, как ты, – чистые сутью своей, ясные и бесхитростные помыслами и делами.

Помолчав, сказала строже, с выговором каждого слова:

– Я, Екатерина, не долго протяну: не столько стара я, сколько, как видишь, безвременно немощна и вымотана. И сердце – не сердце уже, а окаменелость какая-то. Чтó кровь всё ещё проталкивает по жилам – непонятно. Да, скоро помру.

– Что вы, Евдокия Павловна!

– Молчи, слушай! Не хочу, чтоб дом... *наш* дом... достался каким-нибудь злыдням. На тебя перепишу.

– Что вы, Евдокия Павловна!

– Молчи, сказала! Ты сначала послушай, какие здесь люди жили, а потом отказывайся. Нельзя, чтоб сюда кто случайный въехал. А ты останешься, – совьёшь гнездо. Мы же с неба будем смотреть на тебя и на твоих деток с благоверным твоим, как живёте-можете вы в этом нашем всеобщем и, несмотря ни на что, Божьем, да, да, Божьем мире. И будем радоваться, тешиться.

Волнение перебило дыхание старушки, и она замолчала, полежала с приоткрытыми глазами.

Екатерина склонила голову. Ей хотелось заплакать, зарыдать, излившись до глубин душою. Сказать, вот я какая, вот что со мной, Евдокия Павловна дорогая, но – не посмела перед женщиной, потерявшей всех своих детей и мужа.

– Наш мир разве Божий? – невольным шепоточком спросила она, словно бы у тишины этой комнаты с фотографиями и иконами.

– Верь: мир наш Божий, и все человеки Земли Боговы, – сурово, но и ласково одновременно посмотрела на неё старая женщина. – Говорю тебе потому так, что я несломленная, а убитая. А кому, как не мертвецам, знать больше правды, чем вам, живым?

– Что вы такое говорите!

– Я знаю, что говорю. Я пока ещё здесь... телом своим бранным и больным. Но душа моя уже давно не здесь, а там, высоко-высоко, далеко-далеко.

Обе долго, но легко помолчали.

Наконец, старая женщина заговорила, и голос её звучал хотя и тихо, с трещинками, но ясно и чисто:

Глава 34

– Слушай, дочка, и запоминай крепко: когда-нибудь кому-нибудь, может быть, расскажешь или только сердце твоё будет знать и помнить.

Жили-были здесь мы – простая русская семья Елистратовых: муж мой, офицер, батальонный командир из Красных казарм, Платон Андреевич Елистратов, в прошлом георгиевский кавалер, участник Японской и Первой мировой войн, я, учительница, хотя и крестьянского происхождения, но выпускница Девичьего института Восточной Сибири имени императора Николая Первого, или ещё его называли институтом благородных девиц. А потому, поясню тебе, я туда попала, что батюшка мой, Павел Саввич Конюхов, был зажиточным, как говорили и писали в официальных бумагах – многомочным. И наши детки с нами жили – доченька Марьюшка, двух лет от роду умерла от кори, да два сыночка – Сашенька, Александр, старший, студентом был Ленинградского технологического института, на инженера учился, мечтал строить гидростанции, и Пашенька, младший, наш поздненький, заскрёбыш, в сорок третьем на фронт ушёл и – не вернулся. Вот они все надо мной. На тебя смотрят. Смо-о-отрят, ро-о-одненькие. Видать, приглядываются: кто ты такая, чем дышишь, доброй ли будешь здесь хозяйкой.

Слушай ты, Катя, – и они с нами послушают. А начну, как говаривали у нас в деревне, издаля-издалёча: мой батюшка мученически погиб в Гражданскую от рук чехословаков, а матушка следом с горя слегла и померла. Ещё одна родная душа – единственный братка мой Федя не вернулся с германской, остался навеки лежать в Галиции после знаменитого Брусиловского броска. С Платоном Андреевичем мы встретились в революционную пору, оба были к тому времени уже не очень молоды, намыкались по жизни, а потому, уставшие и одинокие, потерявшие всех своих близких, потянулись друг к другу и мало-помалу зажили душа в душу. У меня до него, к слову, был муж Николай, но прожили мы с ним вместе совсем маленечко, так как ушёл он в четырнадцатом по мобилизации, и с той поры я его уже ни разу не видала, только десяток писем получила с фронтов, то есть женой-то по-настоящему и не побыла с ним, семейного счастья не изведала. Сгинул он в переломном двадцатом где-то в донских степях. Но, возможно, и жив остался: уплыл с остатками Добровольческой армии за море, в неведомые зарубежья. Так я стала, почитай, круглой сиротой, совсем одинокой. Дитя с Николаем мы хотя и успели прижить, да умерла наша девочка, потому как квёлой родилась, не спасла я её. К фельдшеру прибежала с ней в другое село, а она уже мёртвая.

Батюшка мой числился в нашей притрактовой Кудимовке кулаком, и сельчане недолюбливали его, завидовали, но побаивались, потому как строг он был, взыскующего норова. А чего завидовать-то было? Трудился денно и нощно, любил землю, любил строить и построил на своём не шибко длинном веку много чего, в том числе срубил новую церковь взамен сгоревшей. С людьми делился, чем мог: зерном, веялками, упряжью, – всем-всем, жадности ни крошки в нём не было. А потому со всякими доуками люди шли к нему, и он мало кому отказывал. Строгим же и взыскующим бывал только лишь тогда, когда сталкивался с чьей-нибудь недобросовестностью да ленью. И меня с Федей держал в строгости, и выросли мы в трудах, всему обученные. Жить бы да жить и ему и матушке, ведь совсем молодыми ушли в мир иной – слегка за пятьдесят перевалило обоим. Ох, чего уж теперь об этом, Катенька!

В нашу деревню однажды вошёл отряд чехословаков: они гонялись за партизанами, а те накануне отбили у них обозы с боеприпасами и провиантом. Вошли они в село и-и-и – давай рыскать, злобствовать самыми растреклятыми злыднями. Пристрелили нескольких мужиков, те заартачились, забуянили. Потом согнали всех жителей на площадь перед церковью, выставили пулемёты и стволы винтовок и говорят:

– Всех перестреляем и перевешаем, если не скажете, где скрываются партизаны. Ну, говорите!

Мы – молчим, хотя известно было, наверное, каждому про партизан: по Хоринских балкам они кроются. Молчим, крепко молчим. Бах выстрелы. Первыми в переднем рядке двух баб и мужика скосило замертво.

– Ну! – говорят эти злыдни. – Молчать будете? Дёбро! Получайте ещё!

Падают люди, корчатся. Ужас. Дети, бабы заголосили, кто-то кинулся наутёк – срубили пулемётной очередью.

Не могу не сказать Катя: вот тебе и культурная Европа, вот тебе и братья-славяне! А чуть позже эта же Европа породила Гитлера. Да что хаять Европу: здесь у нас, в нашей матушке-России, что мы породили и набедокурили?

Стоим мы перед чехословаками таким овечьим гуртом. И Пресвятая Богородица: что же делать, что же делать? Но тут вижу: мой батюшка выдвинулся из-за спин, к чехословакам пошёл, а их командир уж руку поднял для отмашки, ну, чтоб гвоздили по нам.

– Я скажу! – слышим мы.

– Будь ты проклят! – зашипели наши кудимовцы.

– В отряде мой братка.

– И муж мой тама.

– Супостат! Кулачье отродье... – сыпали страшными словами.

И во мне ворохнулась неприязнь к отцу. Но если бы мы тогда знали, если бы знали!..

О чём-то поговорил он с чехословаками, и отряд тронулся в путь. Отец – впереди. Мне показалось – он махнул мне рукой, понимаю теперь – прощался, и таким маленьким торопливым знаменем осенил и меня, и село родное с его лесами, полями и небом.

Народ разбредается и всё шипит, клокочет:

– Отродье! Иуда...

А мальчишки шпыняют и щипают меня, как гадкого утёнка.

Но не прошло и полсуток – и тот самый партизанский отряд вошёл в нашу деревню, а командир, Савва Кривоносов, наш кудимовский мужик, рассказал, как погиб мой батюшка.

Вывел он чехословаков к большим, распахнутым во все пределы еланям перед самыми Хоринскими балками, хотя мог провести, как бывалый охотник и грибник, утайными тропами через леса наши дремучие, чтобы подкрасться к отряду и с холмов и скальников перестрелять, точно рябчиков, весь отряд. А батюшка – видишь, как оно задумано им было! – вывел на самое открытое-разоткрытое место и наверное знал, что в дозорах круглосуточно сидят мужики. Дозорные живёхонько скумекали: посыльных – за отрядом. И партизаны с трёх краёв вмиг навалились, обхватили чехословаков и давай понужать их из винтовок и гранатами. Враз положили с половиной, говорил Савва. Остатние чехословаки кинулись в дебри, побросали и лошадей, и повозки, и пулемёты с лентами. Но батюшку, злыдни, уволокли за собой. Говорили потом, он уже ранен был, наверное, наши угодили. Партизаны – в погоню, но в наших глухома-нях не шибко-то развоюешься. Однако всех изничтожили. А дальше вот что... извини, слёзы давят, горечь жжёт грудь. Батюшку обнаружили распятым на лиственне: руки-ноги штыками пригвождены. И весь, весь исколот. Выходит, долго не умирал. Он был, как говорили у нас в деревне, живой, настоящим силачом, за десятерых работал, если надобность случалась. Что принял, что принял!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.